

ЛУЧШАЯ ФАНТАСТИКА О БУДУЩЕМ

ВЯЧЕСЛАВ РЫБАКОВ



ГРАВИЛЕТ
«ЦЕСАРЕВИЧ»

Вячеслав Рыбаков

Гравилёт «Цесаревич» (сборник)

«ЭКСМО»

1993, 2003

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Рыбаков В. М.

Гравилёт «Цесаревич» (сборник) / В. М. Рыбаков — «Эксмо»,
1993, 2003

Легендарный роман в жанре «альтернативной истории»! Конец XX века...
Неизвестными террористами взорван гравилет «Цесаревич», на борту
которого находился наследник российского престола. Расследование
возглавляет полковник Министерства Государственной Безопасности князь
Трубецкой. Выясняется, что к преступлению причастны коммунисты. Князь
не может в это поверить, так как и сам является приверженцем идеалов
коммунизма. Шаг за шагом Трубецкой проходит по всей цепочке следов,
ведущих в старинный дом на территории Германской империи, где одинокий
ученый проводит немислимый с точки зрения морали и элементарного
человеколюбия эксперимент...

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Рыбаков В. М., 1993, 2003
© Эксмо, 1993, 2003

Содержание

Гравилет «Цесаревич»	6
Глава 1	6
Глава 2	19
Глава 3	36
Глава 4	48
Глава 5	66
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Вячеслав Рыбаков

Гравилёт «Цесаревич» (сборник)

© Рыбаков В., 2018,

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

* * *

Гравилет «Цесаревич»

*Отец не почувствовал запаха ада И выпустил Дьявола в мир.
Альфред Гаусгоффер. Моабит, 1944*

Глава 1 Сагурамо

1

Упругая громада теплого ветра неторопливо катилась нам навстречу. Все сверкало, словно ликуя: синее небо, лесистые гряды холмов, разлетающиеся в дымчатую даль, светло-зеленые ленты двух рек далеко внизу, игрушечная, угловато-парящая островерхая глыба царственного Светицховели. И – тишина. Живая тишина. Только посвистывает в ушах напоенный сладким дурманом дрока простор да порывисто всплескивает, волнуясь от порывов ветра, длинное белое платье Стаси.

– Какая красота, – потрясенно сказала Стася. – Боже, какая красота! Здесь можно стоять часами...

Ираклий удовлетворенно хмыкнул себе в бороду. Стася обернулась, бережно провела кончиками пальцев по грубой желтовато-охристой стене храма.

– Теплая...

– Солнце, – сказал я.

– Солнце... А в Петербурге сейчас дождь, ветер. – Снова приласкала стену. – Полторы тысячи лет стоит и греется тут.

– Несколько раз он был сильно порушен, – сказал Ираклий честно. – Персы, арабы... Но мы отстраивали. – И в голосе его прозвучала та же гордость, что и в сдержанном хмыке минуту назад, словно он сам, со своими ближайшими сподвижниками, отстраивал эти красоты, намечал витиеватые росчерки рек, расставлял гористый частокол по левому берегу Куры.

– Ираклий Георгиевич, а правда, что высота храма Джвари, – и она опять, привечая крупнокаменную шершавую стену уже как старого друга, провела по ней ладонью, – относится к высоте горы, на которой он стоит, как голова человека к его туловищу? Я где-то читала, что именно поэтому он смотрится так гармонично с любой точки долины.

– Не измерял, Станислава Соломоновна, – с достоинством ответил Ираклий. – Искусствоведы утверждают, что так.

Она чуть кивнула, снова уже глядя в даль, и шагнула вперед, рывком потянув за собою почти черное на залитой солнцем брусчатке пятно своей кургузой тени. «Осто!...» – вырвалось у меня, но я вовремя осекся. Если бы я успел сказать «Осторожнее!» или тем более «Осторожнее, Стася!» – она вполне могла подойти к самому краю обрыва и поболтать ножкой над трехсотметровой бездной. Быть может, даже прыгнула бы, кто знает.

– Ираклий Георгиевич, – не оборачиваясь к нам, она показала рукой вправо, вверх по течению реки Арагви, – а во-он там, за излучиной... какие-то руины, да?

– Развалины крепости Бебрисцихе. Там очень красиво, Станислава Соломоновна. И просто половодье столь любимого вами дрока, воздух медовый. Туда мы тоже обязательно съездим, но в другой раз. После обеда или даже завтра.

– Вряд ли после обеда, – подал голос я. – Стася все-таки с дороги.

К Джвари мы заехали по пути с аэродрома.

Стася обернулась и чуть исподлобья взглянула на меня широко открытыми, удивленными глазами.

– Я ничуть не устала. – Отвернувшись, добавила небрежно: – Разве что на вторую половину дня у тебя иные виды...

И снова, как все чаще и чаще в последние недели, я почувствовал себя словно в тысяче верст от нее, словно в тысяче лет от нее. Словно в могиле от нее.

Она неторопливо шла вдоль края площадки; мы волей-неволей – за нею.

– И совсем они не шумят, сливаясь, – проговорила она, глядя вниз. – И не обнимаются. Обнимаются вот так. – Она мимолетно показала. Угловатыми змеями взлетели руки, сама изогнулась, запрокинулась пружинисто – и у меня сердце захолонуло, тело помнило. – А эти мирно, без звука, без малейшего всплеска входят друг в друга. Как пожилые, весь век верные друг другу супруги. Странно он видел...

– И монастырем Джвари не был никогда, – чуть улыбаясь, добавил Ираклий.

– Поэту понадобилось – значит, он прав, – сразу ответила Стася, не замечая, что атакует не столько реплику Ираклия, сколько предыдущую свою. – Если поэт в придорожном камне увидел ужин – он сделает из него ужин, будьте покойны.

– Но ведь ужин будет бумажный, Станислава Соломоновна!

– Один этот бумажный переживет тысячу мясных.

С веселой снисходительностью Ираклий развел руками, признавая свое поражение, как если бы в тупик его поставил ребенок доводом вроде: «Но ведь феи всегда поспевают вовремя».

– Велеть сегодня разве бумажное сациви, – задумчиво проговорил он затем, – бумажное ахашени... – И подмигнул мне.

Стася, шедшая на шаг впереди, даже не обернулась. Ираклий чуть смущенно огладил бороду.

– Впрочем, боюсь, мой повар меня не поймет, – пробормотал он.

Как-то не так начинается эта долгожданная неделя, подумал я. Эта солнечная, эта свободная, эта беззаботная... Я прилетел вчера вечером, и мы с Ираклием почти не спали: болтали, смеялись, потягивали молодое вино и считали звезды, а я еще и часы считал, а утром гнали от Сагурамо к аэродрому, и я считал уже минуты и говорил: «Вот сейчас Стаська элеронами зашевелила», «Вот сейчас она шасси выпустила». Ираклий же, барственно развалившись на сиденье и одной рукой небрежно покачивая баранку, хохотал от души и свободной рукой изображал все эти воздухоплавательные эволюции. И вот поди ж ты – пикировка.

Ираклий, видно, тоже ощущал натянутость.

– Я думаю иногда, – сказал он, явно стараясь снять напряжение и разговорить Стасю, – что российская культура прошлого века много потеряла бы без Кавказа. Отстриги – такая рана возникнет... Кровью истечет.

– Не истечет, – небрежно ответила Стася. – Мицкевич, например, останется как был. Его мало волновали пальмы и газаваты.

– Ах, ну разве что Мицкевич, – с утрированно просветленным видом закивал Ираклий. Чувствовалось, его задело. – Как это я забыл!

– Конечно, в плоть и кровь вошло, – примирительно сказал я. – И не только в прошлом веке – и в этом... Считай, здесь одно из сердец России.

– Боже, какие цветы! – воскликнула Стася и кинулась с площадки вниз по отлогому склону; и длинное белое платье невесомым облаком заклокотало позади нее, словно она вздымала в беге пух миллионов одуванчиков. Изорвет по колючкам модную тряпку, подумал я, здесь не польские бархатные луговины... Но вслух не сказал, конечно.

– Серна, – ведя за нею взглядом, проговорил Ираклий то ли с иронией, то ли с восхищением. Скорее всего и с тем и с другим.

Разумеется, зацепилась. Ее дернуло так, что едва не упала. Но уже мгновением позже любой сказал бы, что она остановилась именно там, где хотела.

– Признайтесь, Станислава Соломоновна, – крикнул Ираклий, – в вас течет и капля грузинской крови!

Она повернулась к нам – едва не по пояс в жесткой траве и полыхающих цветах.

– Во мне столько всего намешано – не упомнить. – Голос звенел. – Но родилась я в Варшаве. И вполне горжусь этим!

– Действительно, – подал голос я. – И носик такой... с горбинкой.

– Обычный еврейский шнобель, – отрезала она и отвернулась, сверкая, как снежная, посреди горячей радужной пены подставленного солнцу склона.

– Ядовиток тут нет каких-нибудь? – спросил я, стараясь не выказывать голосом беспокойства.

Ираклий искоса стрельнул на меня коричневым глазом и принялся перечислять:

– Кобры, тарантулы, каракурты...

– Понял, – вздохнул я.

Некоторое время мы молчали. День раскаленно дышал, посвистывал ветер. Ираклий достал сигареты, протянул мне.

– Спасибо, на отдыхе я не курю.

– Я помню. Просто мне показалось, что сейчас тебе захочется. – Он вытряхнул длинную, с золотым ободком у фильтра, «Мтквари». Ухватив ее губами, пощелкал зажигалкой. Жаркий ветер сбивал пламя. Нет, занялось.

– От чего мы действительно можем кровью истечь, – сказал я, – так это от порывистости.

– Это как?

– Я и сам толком не понимаю. Навалиться всем миром, достичь быстренько и почить на лаврах. Только у нас могла возникнуть поговорка «Сделал дело – гуляй смело». Ведь дело, если это действительно дело, занятие, а не кратковременный подвиг, сделать невозможно, оно длится и длится. Так нет же!

Ираклий с сомнением покачал головой:

– Нет, нет, даже язык это фиксирует. Возьми их «миллионер» и наше «миллионщик». Миллионер – это, судя по окончанию, тот, кто делает миллионы, тот, кто делает что-то с миллионами. А миллионщик – это тот, у кого миллионы есть, и все. В центре внимания не деятельность, а достигнутое неподвижное наличие.

Ираклий затаился, задумчиво щурясь на восьмигранный барабан храма. Казалось, барабан плавится в золотом огне. Страхивая пепел, легонько побил средним пальцем по сигарете. Вновь покачал головой:

– Во-первых, мы говорили о российской культуре, а ты говоришь о русском национальном характере. Уже подмена. А во-вторых, от чего характер действительно может истечь кровью – так это, прости, от какой-то упоенной страсти к самобичеванию. Даже поводы придумываете, как нарочно, хотя они не выдерживают никакой критики. Если следовать твоей логике, можно подумать, что «погонщик» – это тот, у кого есть погоны на плечах, – он легонько хлопнул меня по плечу, обтянутому безрукавкой, – а отнюдь не тот, кто скотину гонит.

– Уел, – сказал я, помолчав. – Тут ты меня уел. И где! В стихии моего языка!

– Свой язык слишком привычен. Бог знает, что можно придумать, если комплекс заедает. Со стороны виднее. – Он опять затаился и опять искоса взглянул на меня, на этот раз настоженно: не обидел ли. – Хотя что значит со стороны... Одной ногой со стороны, другой – изнутри. Как многие в этой стране.

Теперь уже я коснулся ладонью его плеча:

– Послушай, Ираклий. Вон те горы...

– Слева?

– Да, те, куда Тифлисский туннель уходит...

– Послушай, Александр, – в тон мне проговорил он. – Когда царь Вахтанг Горгасал, утопившись на охоте, спешил к незнакомому источнику и решил омыть лицо, он опустил в воду руки и удивленно воскликнул: «Тбили!», «Теплая!» Оттуда и пошло название города. Запомни, пожалуйста.

– Прости. Хорошо, но почему ты мне пеняешь, а в Петербурге и где угодно слышишь по десять раз на дню «Тифлис» и – ни звука?

Он бросил окурок и тщательно вбил его каблуком в сухую землю, чтобы и следа его не осталось.

– Потому что чужие его пусть хоть Пном-Пнем называют. Ты же не чужой. Понял?

– Понял.

– Будешь еще говорить «Тифлис»?

– Амазе лапаракиц ки ар шеидзлеба!

– И речи быть не может... – машинально перевел он; у него сделался такой оторопелый вид, что я засмеялся. – Ба! Ты что, дорогой, грузинский учишь? И произношение как поставил!

– Увы, обрывки только, – признался я. – Разговорник полистал перед отлетом. А было бы время да способности – все языки бы выучил, честное слово. Приезжай хоть в Ревель, хоть в Верный – и себе приятно, и людям уважение. Но...

– Лопнет твоя головушка от такого размаха, – ухмыльнулся Иракий. – Вот действительно русский характер. Уж если языки – то все сразу. А если не все – то ни одного. В лучшем случае – от каждого по фразе. Имперская твоя душа... Побереги себя.

– Дидад гмадлобт¹.

– Не стоит благодарности.

– Я вот что хотел спросить. В те горы как – погулять можно пойти? Тропки есть? Или там слишком круто?

Иракий неторопливо перевел взгляд на Стасю. Она была уже шагах в пятидесяти.

– Да, да, я ее имею в виду.

– Ну, Станислава Соломоновна-то, я вижу, везде пройдет. – Он отступил от меня на шаг и с аффектированным скепсисом оглядел с головы до ног. Я улыбнулся:

– Обижает, друг Иракий. Конечно, после тридцати я несколько расплылся, но в юные лета хаживал и по зеркалу Ушбы, и на пик Коммунизма...

– О, ну конечно! Как я мог забыть! Чтобы правоверный коммунист не совершил восхождения на свою Фудзияму!

– Дорогой, при чем тут Фудзияма! – начал кипятиться я. – Просто трудный интересный маршрут! И так уж судьбе было угодно, чтобы большинство ребят, залезших туда впервые и давших в двадцать восьмом году название, принадлежали к нашей конфессии!

Он засмеялся, сверкая белыми зубами из черной бороды.

– А тебя, оказывается, тоже можно вывести из себя, – сказал он. – Признаться, глядя, как с тобой обращаются некоторые здесь присутствующие, я думал, ты ангел кротости.

Я отвернулся, уставился на Мцхету. Пожал плечами.

– Тебе и тяжело так оттого, что у тебя всегда все всерьез, – негромко сказал Иракий. – И у тех, кто с тобой, – все всерьез.

Я пожал плечами снова.

– А как Лиза? – спросил он.

– Все хорошо. Провожала меня вчера чуть не до трапа.

– Потому и летели разными рейсами?

¹ Большое спасибо (груз.).

– Ну, мы не говорили об этом вообще, но, наверное, Стася была уверена, что меня будут провожать. Она сама и придумала себе какую-то отсрочку, чтобы лететь сегодня... даже не сказала какую.

– А Поленька?

– И Поленька провожала. Всю дорогу рассказывала сказку про свой остров, уже не сказку даже, а целую повесть. На одной половине живут люди, которые еще умеют немножко думать, но только о том, где бы раздобыть еду, а на другой – которые думать уже совсем не умеют. «Почему?!» – «Папа, ну как ты не понимаешь? Ведь Мерлин дал им вдоволь хлеба, и теперь они думать совсем разучились, потому что весь остров долго голодал и думать люди стали только о еде!» Видишь... Это уже не сказка, это философский трактат уже.

– Ей одиннадцать?

– Тринадцать будет, Ираклий.

– Святой Георгий, как время летит. А Лиза... знает?

– Иногда мне кажется, что догадывается обо всем и махнула рукой, ведь я не уйду. Вчера так смотрела... И так спокойно: «Отдыхай там как следует, нас не забывай... Ираклию кланяйся. Ангел тебе в дорогу». Иногда кажется, что догадывается, но гонит эти мысли, не верит. А иногда – что и помыслить о таком не может, а если узнает, просто убьет меня на месте, и правиль...

– Ш-ш.

Подходила Стася – неторопливо, удовлетворенно; громадная охапка цветов – как младенец на руках. Богоматерь. И один, конечно, воткнула себе повыше уха – нежный бело-розовый выстрел света в иссиня-черных, чуть вьющихся волосах. Шляпу бы ей, подумал я. На таком солнце испечет голову...

– Какой красивый цветок. И как идет тебе, Стася. Как он называется?

– Ты все равно не запомнишь, – ответила она и, не останавливаясь, прошла мимо нас, вдоль теневой стены храма к тропинке, ведущей на спуск.

Ираклий, косясь на меня, неодобрительно, но беззвучно поцокал языком ей вслед. Я со старательной снисходительностью улыбнулся: пусть, дескать, раз такой стих напал. Но на душе было тоскливо.

– Всякая женщина – это мина замедленного действия, – наклонившись ко мне, тихонько утешил Ираклий. – Никогда не знаешь, в какой момент ей наскучит демонстрировать преданность и захочется демонстрировать независимость. Но это ничего не значит. Так... – Он усмехнулся: – Разве лишь ногу оторвет взрывом, и только.

Я смолчал. Преданность на людях Стася не демонстрировала никогда.

Перед спуском она обернулась, удивленно глянула на нас чуть исподлобья:

– Что же вы? Идемте.

Мы пошли. Младенец колыхал сотней разноцветных головок.

Напоследок я обвел взглядом пронзительно прекрасный простор внизу – еще шаг, и вершина, на которой стоял Джвари, выгибаясь за нашими спинами, скрыла бы долину. Сердце защемило от любви к этому краю. Разве любовь может быть безответной? Ираклий... его друзья... «Мои друзья – твои друзья!» Откуда же тогда это черное чувство, застилающее ослепительный свет южного дня, – чувство, что эта красота уже не моя, что я вижу ее в последний раз? Кто надышал на меня эту тьму? Странно, но я уверен: она откуда-то извне, из неведомых мне теснин, она – чужая...

Мы начали спускаться. Навстречу нам, вываливаясь из громадного туристического автобуса, плотной вереницей поднимались увешанные видеоаппаратурой люди, слышалась многоголосая испанская речь, и я порадовался, как нам повезло – мы были у Джвари только втроем.

Авто Ираклия дожидалось на обочине, там, где мы его оставили час назад, – роскошный белоснежный «Руссо-Балт» типа «ландо», с откидным верхом. Верх убран, дверцы – настезь,

ключ зажигания с янтарным брелком в виде головки Эгле – Королевы ужей – наверняка подарок какой-нибудь прибалтийской красавицы – вызывающе доверчиво торчит из приборной доски. Ираклий весь в этом. Впрочем, вероятно, его авто знают в округе.

– Ираклий Георгиевич, можно, я сяду рядом с вами, впереди?

– Почту за честь, Станислава Соломоновна.

Она протянула мне младенца:

– Подержи ты, пожалуйста. Здесь не помещается, закрывает руль. А просто на сиденье кинуть – растреплется.

– Конечно, подержу, какой разговор.

Ни с одним человеком нельзя повстречаться дважды, думал я, одиноко усаживаясь на просторное заднее сиденье. Пока человек жив, он меняется каждую секунду, пусть даже сам до поры того не замечает – и вот проходит неделя, пусть даже пять дней, и он иной, ты встречаешься уже не с тем, с кем расстался; тот же рост у него, те же привычки и пристрастия, но сам он – иной, он тебя не помнит; и – все сначала. И ведь со мною тот же ад; ведь и я живу и, значит, меняюсь каждую секунду. Так нечестно! Не хочу!

А притворяться прежним собой, чтобы не поранить того, с кем встретился после пятидневной разлуки, – честно?

Значит, порядочный человек должен быть нечестным, чтобы скомпенсировать нечестность мира. Ведь это подлый, подлый мир, коль скоро он так устроен: бережный – лжет, честный – чуть что, рубит наотмашь...

Горячий ликующий ветер, огибая ветровое стекло, бил в лицо. Разливы цветов на обочинах мелькали и сметали друг друга. Шипя, дорога танцевала навстречу, как змея.

Прекрасный нечестный мир.

Ираклий лихо затормозил у самых ворот своей сагурамской дачи. Выскочил из машины, галантно распахнул дверцу со стороны Стаси:

– Прощу!

Потом, ухмыляясь, открыл дверцу мне. С букетом я был совершенно беспомощен.

– Прощу и вас.

Навалившись обеими руками, сам распахнул перед нами створку ажурных ворот. Полого вверх, в темную глубину сада, уходила дорожка.

– Добро пожаловать в приют убогого чухонца.

Забавно, он уже не в первый раз называет так свое родовое гнездо. Я никогда не решался спросить, в чем тут дело. Подозреваю, игра сложилась уже давно, благодаря многолетней фамильной дружбе князей Чавчавадзе с баронами Маннергейм. Корни ее уходят годы, пожалуй, в тридцатые. Вот и Ираклий в свое время долго служил вместе с Урхо. Я с Урхо никогда не был особенно близок, и никогда мне не доводилось бывать в его особняке под Виипури, но, думаю, случись такое, у ворот он непременно пригласил бы войти в бедную саклю, прилепившуюся к крутому склону соплеменных гор. Или что-нибудь в этом роде.

Наконец-то тень. Только в саду я понял, как, при всей своей любви к солнцу, с непривычки устал от него. Настоящей прохлады не было, однако и здесь сухой, прогретый воздух томно играл листвой, колыхался среди деревьев, причудливо катая волны запахов от одного к другому, так что, проходя мимо олеандра или жасмина, мы вдруг ощущали на миг аромат глицинии, а возле глицинии вдруг проносилась струйка тягучей патоки дрока. Хотелось сесть на землю, привалиться спиной к стволу хотя бы вот этой фисташки, зажмуриться и дышать, дышать.

– Хочу обратить ваше внимание, Станислава Соломоновна, – древний источник. Он волшебный. Еще триста с лишним лет назад люди заметили, что каждый глоток снимает один грех.

– О-о! У меня как раз такая жажда! Нужно пить и пить!

Она стремительно подбежала к высокой тумбе красного кирпича, в нише которой журчала чуть слышно кристально чистая влага. Стараясь стоять подальше, чтобы не забрызгать платье, и даже отведя одну руку за спину, ладонью другой она черпала и пила, пила. Не простудилась бы... Только что с солнцепека, а горлышко-то у нее слабенькое, я знал.

Отвернулась, выпрямилась, отряхивая руку. Лицо – счастливое, глаза сверкают, и чуть вздрагивает безымянный цветок в черных кудрях. И влажно поблескивает подбородок.

– Вкусная! И двадцать семь грехов как не бывало! А можно еще, он не обмелеет?

– Сколько вашей душе угодно, Станислава Соломоновна. Я вижу, вы великая грешница. Или решили запастись на будущее? Только не простудитесь.

Он будто читал мои мысли.

Может, и читал слегка. Друг.

– Александр тоже вчера набросился было. – Ираклий лукаво посмотрел на меня и подмигнул. – Но потом быстро понял, что есть напитки куда более целебные.

Стася совсем по-детски вытягивала шею, чтобы с подбородка не капнуло на платье.

– Еще пятнадцать. – Опять повернулась к нам, вытирая улыбающиеся губы тыльной стороной ладони. – А? Нет, целебнее нет.

– А молодые вина? – явно оскорбился Ираклий.

– Спасибо, Ираклий Георгиевич, но это не для меня. С нею что-то случилось?

Она вдруг подошла ко мне. Взглянула чуть исподлобья:

– Здесь можно принять душ, Саша? Я успею до обеда?

– Разумеется. Сейчас я провожу.

Наконец-то что-то родное в интонации. И тоски как не бывало, лишь удивление: что за тьма мне пригрезилась, из какого ящика Пандоры? Ведь все хорошо, все чудесно. Покой, солнце. Дышать...

– Как красиво здесь, – сказала она.

– Да. Я знал, что тебе понравится. Идем.

– Знаешь, что я подумала там, у Джвари? Совершенно необходимо иногда увидеть воочию те прекрасные места, о которых до этого только читал и только от поэтов знал, как они прекрасны. Тогда сразу становится ясно, что и остальное прекрасное, о чем мы читаем – совесть, преданность, любовь, – тоже не выдумка.

– А тебе иногда кажется, что выдумка?

Она пожала плечами:

– Как и тебе.

– Ну не-ет...

Она усмехнулась с грустным всепрощающим превосходством:

– Кому-нибудь другому рассказывай. Я-то уж знаю.

Старый дядя Реваз, будто прыгнувший с картин Пиросмани, сидел в плетеном кресле у входа, в тенечке, обмахиваясь последним номером «Аполлона», и явно поджидал нас – увидел и сразу встал:

– Гамарджобат, мадам! Гамарджобат, батоно княз!

– Добрый день, дядя Реваз.

«Реваз» и «княз», благодаря его произношению, составили, на мой взгляд, идеальную рифму. Я коротко покосился на Стасю – заметила ли она? Не подвигнет ли эта деталь, например, на эпиграмму? Мне всегда было ужасно приятно и даже лестно, если в ее стихах я угадывал отголоски впечатлений, коим я был пусть не виновником, но хотя бы свидетелем. Нет, ее лицо оставалось отстраненным.

– Это Станислава Соломоновна, большой талант, – проговорил я. – Это Реваз Вахтангович, большая душа.

– Здравствуйтесь, Реваз Вахтангович.

– Заходите дом, прошу. Дом прохладно. – Он говорил с сильным акцентом, но мне и акцент был мил, и акцент был пропитан солнцем. Сделал шаг в сторону, пропуская Стасю к ступенькам, и, когда она прошла, наклонился ко мне. Сказал вполголоса: – Вам депеша пришел, батоно. В конверт. – И, сунув руку в карман широких штанов, добыл конверт. Протянул мне.

– Спасибо, дядя Реваз. – Я оттопырил правый локоть, а дядя Реваз сунул мне конверт под мышку – я прижал его к боку и, по-прежнему с врученным мне Стасей стоголовым младенцем на руках, вошел в дом.

Здесь, в действительно прохладной прихожей, Стася и княгинюшка Тамрико уже ворковали, успев познакомиться без меня.

– Мужчины всегда не там, где надо, спешат и не там, где надо, опаздывают, – сказала княгинюшка, увидев меня. – Я уже все знаю – и как нашу гостью зовут, и про Джвари, и что нужен душ. Вы свободны, Саша.

Да. Стася умела быть стремительной, мне-то довелось это испытать.

– Тогда я действительно поднимусь на минутку к себе и хоть руки освобожу.

– Я велю принести вам вазу с водой. – Княгинюшка взглядом опытного эксперта смерила букет. – Две вазы.

– Ты положи его пока аккуратненько, – сказала Стася, стоя ко мне спиной. – Я приду – разберусь.

Я свалил букет на стол, рванул конверт по краю. Конечно, бумага раздернулась не там, где надо, – пальцы спешили и волновались; бросающаяся в глаза надпечатка «Князю Трубецкому А. Л. в собственные руки» с хрустом лопнула пополам.

Так я и знал, сплошная цифирь. Несколько секунд, кусая губы, я бессмысленно смотрел на выпавший из конверта маленький твердый листок с шестью колонками пятизначных чисел, потом встал. Открыл шкаф; из бокового кармана пиджака достал комп-шифратор, оформленный под записную книжку. Вложил в щель листок и надавил пальцами на незаметные точки гнезд опознавателя; пару секунд опознаватель считывал мои отпечатки пальцев, индекс пота... Потом на темном табло брызнули мельтешащие бестолковые буквы и, посетившись мгновение, сложились в устойчивую строку: «Получением сего надлежит вам немедленно вернуться столицу участия расследовании чрезвычайной важности. Товарищ министра государственной безопасности России И. В. Ламсдорф».

Я отложил дешифратор. Вне контакта с моей рукой он сразу погасил текст. Я поднялся и медленно подошел к распахнутому в сад окошку. Оперся обеими руками на широкий подоконник. Солнце ушло с него, наверное, с полчаса назад, спряталось за угол дома, но подоконник до сих пор был теплее, чем руки. Отсюда, со второго этажа, поверх сверкающей листвы, долина открывалась на десятки верст – едва ли не все главные земли древнего Каргли.

Вот тебе и отдохнул.

Вот тебе и побыл с любимой в раю.

Упоительный запах цветущего под окном смолосемянника сразу стал не моим. Далеким, как воспоминание.

Нет, все-таки надо закурить. Я закурился по комнате в поисках сигарет; обнаружил. Снова подошел к окну и дунул мерзким дымом в благоухающий простор. Слышно было, как внизу, за углом, перешучиваются по-грузински мальчишки, волокущие багаж Стаси из авто в дом.

Милейший Иван Вольфович! Чтобы он отбил мне такую шифровку, должно было случиться нечто действительно выходящее из ряда вон. Ведь мы виделись с ним только вчера поутру, и он, теребя свои старомодные бакенбарды, взбивая их указательным пальцем, так откровенно, так по-домашнему завидовал мне: «Какие места! Какой язык! Цинандали, кварели, киндзмараули... каждое слово исполнено глубочайшего смысла! Отдохните, батенька,

отдохните. Имеете полное право. Дело тарбагатайских наркобаронов съело у вас полгода жизни».

И вот извольте. «Получением сего...»

Нет, дудки. Могли же мы задержаться на прогулке до вечера! А дядя Реваз мог, например, уснуть, нас не дождавшись. Да мало ли как что могло! До утра я с места не сдвинусь!

Но все же – что стряслось?

Не хочу, не хочу думать об этом! Уже забыл!

А ведь что-то страшное... И завтра ли, послезавтра – мне опять в это лезть с головой.

– Друг Александр! – зычно крикнул Ираклий снизу. – Стол накрыт!

2

– Ты устал, любимый.

– Нет.

– Устал. Целуешь через силу.

– Нет, Стася, нет.

– Я же чувствую.

– Ты уже не хочешь?

– Всегда хочу. Всегда лежала бы так. Но ты отдохни чуточку.

Как нежно произнесла она это «чтч». Варшава.

– Я никуда не денусь, Саша.

– Я денусь.

– Ты денешься. А я не денусь. Когда понадобится – всегда буду под рукой.

Она не лгала. Но и не говорила правду. Она просто – говорила.

Села. Спустила ноги на пушистый, во весь пол, ковер. Озабоченно посмотрела в сторону окошка. Простор подергивался медовой дымкой.

– Как ты думаешь, не слышно было, как я тут повизгивала?

– Мягко сказано... – пробормотал я.

– Я же соскучилась, – объяснила она и встала. Медленно подошла к окну. Я смотрел. Она чувствовала мой взгляд, конечно, и не оборачивалась – неторопливо шла и давала мне любоваться вволю. Почти танцевала. Упругая, гибкая, смуглая – на миг я показался себе факиром с флейтой, заклинающим из последних сил... кого?

– Вечереет, – сказала она. Помолчала; я любовался. – Сейчас мы к Бебрисцихе уже не поедem, конечно.

– У меня и впрямь оказались иные виды на вторую половину дня.

Она не ответила. Наверное, уже не помнила этих своих слов.

– Но вот завтра с утра, – мечтательно произнесла она, помедлив. – Подумать только, целую неделю будем здесь! Я так благодарна тебе. – И вдруг, вскинув руки, закружилась по комнате. Иссиня-черные волосы разлетелись стремительной каруселью, грудь искусительно трепетала. Уже опять хотелось стиснуть ее ладонью. – Как хорошо! Как хорошо! Я счастливая!

«Получением сего...» Уже не помню! Не помню!

– Чудесные букеты ты сделала.

– Что-что, а уж это я умею. – Она повернулась ко мне и чуть удивленно глянула исподлобья. Будто для нее сюрпризом оказалось: я смотрю на нее, а не на букеты. – Как ты смотришь...

– Как?

– Хорошо. Я на Лизу похожа?

Горло перехватило. Я сглотнул.

– Совсем не похожа.

- А в постели похожа?
- Совсем не похожа.
- Ты по-разному чувствуешь со мной и с нею?
- Совсем по-разному.
- Не все равно?
- Нет.
- Ты был с ней счастлив, пока мы не налетели друг на друга?
- Я и сейчас с ней счастлив. И с тобой счастлив.

Она улыбнулась чуть презрительно.

- Тебе надо было принимать магометанство, а не коммунизм.
- Тогда я не смог бы пить вина.
- Ой, дура я дура! – Она всплеснула руками. – Лезу с разговорами, а мужик, естественно, еще дернуть хочет! Давай я накину что-нибудь и сбегаю вниз, там на столе оставалась бутылка.
- Ты слишком заботлива.

– Не бывает «слишком». Еще древние вещали: благородная женщина после близости должна заботиться о возлюбленном, как мать о ребенке, ибо женщина в близости рождается, а мужчина умирает. И спортсменами подмечено: после этого дела показатели у женщин улучшаются, а у мужчин – фюить!

– Постараемся выжить, – ответил я и, сунув руку в щель между изголовьем постели и стенкой, достал почти полную бутылку «ахашени». Простите, Иван Вольфович, ничего не помню. Стася засмеялась.

- Будешь?
 - Нет. Я от тебя пьяна, этого достаточно.
- Я налил себе пару глотков в бокал, выпил. Спросил осторожно:

- Ты в порядке?
- В абсолютном. Да не тревожься ты, просто здоровый образ жизни. Я и курить перестала.
- Да что стряслось?

Она засмеялась лукаво. Погладила один из букетов. Ей действительно нравилось, как я на нее смотрю, и она прохаживалась, прогуливалась по комнате – от шкапа к стене с кинжалами и саблями, от сабель – к стене с семейными фотографиями, потом к огромной напольной вазе... Из волос над ухом, подрагивая, так и торчал забытый стебелек анонимного цветка, голый и сирый, ему нагота не шла; все лепестки мы ему перемолотили о подушку.

- Ты же меня так упрашивал! Такой убедительный довод привел!
- Какой?
- Не скажу.
- Полгода как отчаялся упрашивать...

– До меня, как до жирафа. Не тревожься, Саша. Просто я подумала: я на четыре года старше ее, надо оч-чень за собой следить. Хоть паритет поддерживать. – И вдруг высунула на миг кончик языка. – Я ведь даже не знаю, как она выглядит. И Поленька. Ты бы хоть фотографии показал.

- Зачем тебе?
- Родные же люди.
- Не будь это ты, я решил бы, что женщина безмерно красуется.
- Это значит, я безмерно красиво чувствую. А чувствую я, что безмерно люблю тебя.
- С тобою трудно говорить. Ты так словами владеешь...
- Ты владеешь мной, а я владею словами. Значит, ты владеешь словами через заместника.

Царствуй молча, а говорить буду я.

Присела на подоконник, голой спиной в залитый желто-розовым цветом сад.

– Слова... Они, окаянные, просто созданы для обмана. Люди очень разные, у каждого – своя любовь, своя ненависть, свой страх. А слово на всех одно и то же. Тот, кто произносит, подразумевает совсем не ту любовь и не тот страх, который подразумевает, услышав, собеседник. Поэтому лучше уж вообще молчать на эти темы... или говорить лишь для того, чтобы порадовать того, кто рядом... или, если всерьез, объяснять именно свою любовь. Ведь для одного этого слова нужно целый роман, целую поэму написать. Я вот пока летела, – она улыбнулась, – два стихотворения про тебя сочинила. Правда, то, что они про тебя, никто не поймет.

– А я? – глупо гордясь, спросил я.

– А ты, – она опять улыбнулась, – и подавно.

– Прочти.

– Нет.

– Прочти.

– Нет, нет. Не хочу сейчас. Ведь чем больше разжевываешь свое понимание, тем дальше уходишь от чужого. Зачем мне от тебя удаляться? Вот ты, рядом. Это не так уж часто бывает. Скоро опять усвищешь куда-нибудь, а тем временем я опубликую – тогда и прочтешь. – Она поставила одну ногу на подоконник, обхватила ее руками. – Какой воздух чудесный идет снаружи. – Глубоко вздохнула. – Мы еще погуляем перед ужином, правда? И из источника попьем.

– Обязательно. И перед ужином, и перед сном.

– Перед сном это особенно необходимо.

«...Немедля вернуться в столицу...»

Я налил себе полный бокал и выпил, не отрываясь. Из бокала будоражюще пахло виноградниками, плавающими в солнечном океане.

– На аэродром ты ехал из дома?

– Дом... – Солнечный океан хлынул в кровь. – Дом – это место, где можно не подлаживаться. Не контролировать слова. Быть усталым, когда устал, быть молчаливым, когда хочется молчать, – и при этом не бояться, что обидишь. Не притворяться ни мгновения – ни жестом, ни взглядом...

– Так не бывает.

– Наверное. Поэтому у меня никогда не было дома.

– А может, просто тебя никогда не было дома?

– Удачный апперкот.

– Саша, я не хотела обидеть! Ты лучше всех, я-то знаю! Просто я очень хочу быть твоим домом... и мне кажется, у меня бы получилось. Но как подумаю, что ты будешь заходить домой в гости два-три раза в месяц, а в остальное время будешь в другом... а может, и в третьем – то тут, то там дома будут появляться и осыпаться с тебя, как листья, засыхающие от недостатка тебя... Ох, нет, не надо. Все ерунду я говорю. Капризничаю. Не слушай. Это потому, что я расслабилась, уж очень мне хорошо. А если бы я вдруг от тебя родила, ты бы меня бросил?

– Нет, конечно, – медленно сказал я.

– Нет? Правда нет? – Голос у нее зазвенел, и осветилось лицо.

– Глупое слово – бросил. Гранату бросают... камень. А ты же – моя семья. Был бы с вами, сколько бы получалось. Но, видишь ли... уже переломленный. Потому что уже никогда не чувствовал бы себя порядочным человеком.

– А сейчас чувствуешь?

Это была пощечина. Пощечина ниже пояса, так умеют только женщины. Да, не мне говорить о порядочности. С усилием, будто выгребаящий против мощного течения катерок, я отставил бокал подальше; в райской тишине резко ударило стекло.

– Не очень. Но покуда доставляю тебе радости больше, чем горя, – ты сама так говоришь...

– Да, конечно, да! То – что?

– То это имеет хоть какой-то смысл.

– Но ведь тогда у меня будет еще больше радости, Саша!

– А у него? Я же не смогу уделять ему столько внимания, сколько... он заслуживает.

– Мне ты тоже не всегда уделяешь столько внимания, сколько я заслуживаю. Но кто скажет, что я у тебя расту плохая?

Стихия. Слова – не более чем летящие по ветру листья. Если пришел ураган – листья должны срываться и лететь, но их полет ничего не значит. Он значит лишь, что пришел ураган. Ураган уйдет – они осядут. И дурак, нет, садист тот, кто, подойдя к плавающему в грязи листочку, начнет корить его: «Ведь ты уже летал, ну-ка, давай еще, это так красиво!»

Значит, действительно честнее молчать, не пуская на ветер слов, и молча делать то, что хочешь; просто стараясь по возможности не повредить при этом другим, тоже молча?

– Стаська, ты сама не понимаешь, что говоришь.

– Конечно, не понимаю, мое дело бабье. Но ты-то, самец, положи руку на сердце – неужели тебе не будет хотя бы лестно?

Я только головой покачал:

– Естественно, если бы без ссор и дрызг – я бы ужасно гордился.

Встала с подоконника, улыбаясь. Неторопливо подошла ко мне.

– Против твоей воли я ничего никогда не сделаю.

Присев у меня в ногах, наклонилась. Завороженно смотрела, как я, вздрагивая, набухаю под ее взглядом, – и сама безотчетно вздрагивала вслед за мною.

– Ну, вот, – сказала почти благоговейно, – ты снова меня хочешь.

Коснулась кончиками пальцев. Потом, встав надо мной на колени, коснулась грудью. Потом губами. Снова отстранилась, взглядываясь. Распушенные волосы свешивались почти до простыни.

– Он мне напоминает птенца какой-то хищной птицы. Требовательный и беззащитный. Чуть подрос – а так и норовит уже клеваться! А ведь сам, один, ничего не может, нужно прилетать, из любого далека прилетать к нему и кормить, кормить...

Подняла лицо. Глаза сияли.

– Я люблю тебя, Стася, – сказал я.

– Я буду прилетать. Из любого далека, хоть на день, хоть на час, на сколько скажешь. Буду, буду, буду! – Провела кончиками пальцев по полуоткрытым, запекшимся от поцелуев губам. – Хочешь сюда?

– Нет. Лучше подари самцу самку.

Стремительной гибкой молнией она повернулась ко мне спиной, упала на бок – только упруго вздрогнул матрац. Колючий вихрь волос ожег мне щеку.

– Так?

3

К программе «Время» мы опоздали буквально на минуту. Когда, шкодливо досмеиваясь и дошептываясь, мы спустились в гостиную, Ираклий и Тамрико уже сидели перед телевизором, и я сразу понял, что произошло нечто чудовищное. Ираклий обернулся на звук шагов, лицо его было серым.

– ...в десять семнадцать по петербургскому времени, – мертвым голосом сообщал диктор. – Гравилет «Цесаревич» следовал с базы Тюратам, где великий князь Александр Петрович находился с инспекционной поездкой, в аэропорт Пулково. Обстоятельства катастрофы однозначно свидетельствуют о том, что имел место злой умысел...

– Боже! – вырвалось у княгинюшки.

Я помертвел. Я все осознал мгновенно – даже то, что ни спасения, ни отсрочки нам со Стасею нет. Я взглянул на нее – она слушала, вытянув шею, как давеча у источника, и лоб ее был страдальчески сморщен. Я достал из кармана пиджака шифратор с депешей, коснулся пальцами гнезд и показал ей табло. Секунду она непонимающе вчитывалась, потом с ужасом заглянула мне в глаза.

– Это я получил днем, – сказал я. – Думал до завтра потянуть.

Она взяла мою руку с шифратором, поднесла к губам и поцеловала.

– Спасибо за сегодня.

Я подошел к телефону. Поднял трубку, стал нащелкивать номер. У меня за спиной Стася что-то объясняла хозяевам – я не слышал.

– Барышня, когда у вас ближайший рейс на Петербург? Двадцать два пятьдесят?

– Успеем, – отрывисто произнес Ираклий. – Докачу.

– Забронируйте одно место...

– Два! – отчаянно крикнула Стася. Я растерянно обернулся к ней:

– Стасик, может, отдохнешь еще на солнышке...

Она даже не удостоила меня ответом. Отвернулась даже.

– Два места. Кажинская Станислава Соломоновна. Трубецкой Александр Львович. Нет, не Левонович, просто Львович. За полчаса, понял. Гмадлобт дахмаребисатвис².

Положил трубку. Она едва не выскользнула из потных пальцев.

Ираклий подошел ко мне. Веско положил ладони мне на плечи и сильно встряхнул. Он как-то сразу осунулся.

– Найди их и убей, – с жесткой хрипотцой сказал он.

– Постараюсь, – ответил я.

– Я кофе сварю вам, – тихо сказала Тамрико.

Уже в авто, посреди звездной благоуханной ночи – тоненький серпик плыл так спокойно, – она спросила, когда Ираклий отошел закрыть ворота:

– Лиза будет тебя встречать?

– Нет. Они знать-то не знают.

– Хорошо. Значит, сможем еще там поцеловаться на прощание.

– Я приду, Стася! – Горло у меня перехватило от нежности и сострадания. Я знал, это неправда, никто ни к кому не может прийти дважды. – Я приду!

– Я твой дом, – ответила она.

В ласковой темноте то тут, то там зыбко позванивали цикады.

² Благодарю за помощь (груз.).

Глава 2 Петербург

1

Сеть питаемых гелиобатареями орбитальных гравитаторов за какой-нибудь час протащила семисотместную громаду лайнера по баллистической кривой от Тбилиси до Петербурга.

В пути мы почти не разговаривали, лишь обменивались какими-то проходными репликами. «Хочешь к окну?» – «Все равно темно». – «А у тебя лицо успело подзагореть, щеки горят». – «Это у меня от тебя щеки горят, Саша». – «Давай выпьем еще кофе?» О предстоящем я старался не думать; глупо строить досужие версии, ничего не зная, – обрывки их во множестве долетали до меня и в очереди на регистрацию, и в очереди у трапа, уши вяли. Соседи шелестели газетами, вспыхивали то тут, то там вертевшиеся вокруг катастрофы приглушенные разговоры – я все пытался поймать Стасин взгляд, все посматривал на нее сбоку, но она сидела, уставившись вперед и точно окаменев, и лишь обеими руками гладила, ласкала, баюкала мою ладонь, отчаянно припавшую сквозь неощутимую белую ткань к теплой округлости ее бедра. Только когда пилот отцепился от силовой тяги и, подруливая в аэродинамическом режиме, стал заходить на посадку, Стася, так и не пожелав встретиться со мною взглядом, внезапно начала читать. У нее даже голос менялся от стихов – становился низким, грудным, чуть хрипловатым. Страстным. Будто орлица клекотала. Это был голос ее естества, так она стонала в постели. И я гордился: мне казалось, это значило, что иногда я могу дать ей такое же счастье, какое ей дает основа ее жизни, ось коловращения внешней суеты – ее талант. «Как бы повинность исполняю. Как бы от сердца улетаю тех, что любил. Тех, что люблю». У нее было много текстов, написанных от лица мужчин. Наверное, тех, с которыми она бывала; я догадывался, что мужчин у нее было побольше, чем у меня женщин. Если этот текст был из тех, что она написала по дороге сюда, значит, так она представляла себе меня. На душе стало еще тяжелее – она ошибалась. С ней я не испытывал никакой повинности; наверное, я просто запугал ее, слишком часто и со слишком большим пиететом произнося слова «долг», «должен»... как она бесилась, когда я, вместо того чтобы сказать: «Вечером я хочу заехать к тебе», говорил: «Вечером нужно заехать к тебе»; а для меня это были синонимы. От ее сердца я никуда не улетаю и не мог улететь. Я просто этого не умел. От лица мужчин она тоже писала себя.

Столица встретила нас ненастьем. Лайнер замер; Стася, поднявшись, набросила плащ. Он был еще чуть влажным. И багаж ее был еще чуть влажным – тот же косой, холодный дождь, который напитал его влагой поутру, окатывал его теперь, вечером, когда носильщик, побрякывая и покрикивая «Поберегись!», катил его к стоянке таксомоторов. Дождь то притихал, то, повинувшись злобному сумасбродству порывов ветра, вновь набрасывался из промозглой тьмы, он шел волнами, и недавнее грузинское сияние уже казалось мимолетным радужным сполохом, привидевшимся во сне. Засунув руки в карманы грошовой китайской плащаницы, небрежно набросив капюшон и даже не утрудившись застегнуться, Стася в легких туфельках шагала прямо по ледяному кипению черных луж.

– Не простудилась бы ты, Стасенька.

Она будто не слышала. В бешеном свете посадочных огней ее лицо призрачно искрилось. Она так и не повернулась ко мне. Мы так и не поцеловались на прощанье. Хотя меня никто не встречал. Над нами то и дело с протяжным шипящим шумом планировали идущие на посадку корабли, их позиционные огни едва пробивались через нашпигованный водою воздух. Мы с носильщиком перегрузили Стасин багаж, я сунул парню целковый («Премного благода-

рен-с...»), Стася молча шагнула в кабину, молча захлопнула дверцу, и таксомотор повез ее в скромную квартирку, которую она вот уж год снимала в третьем этаже приличного дома на Каменноостровском; а я, ладонью сгоняя воду с лица, вернулся в здание аэровокзала, сдал на хранение свой саквояж – я чувствовал, мне скоро снова лететь, – и из автомата позвонил в министерство.

– А-ле?

– Иван Вольфович!

С языка едва не сорвалось машинальное «Добрый вечер». Успел ухватить за хвост.

– Слушаю, говорите!

– Это Трубецкой. Я в Пулково.

– Ах, батенька, заждались мы вас!

– Теперь же ехать?

– Да уж натурально теперь же. Не тот день, чтоб мешкать.

Вот и я укрылся в кабине авто. Из кармана насквозь мокрого пиджака извлек насквозь мокрый платок, принялся вытирать лицо, шею, волосы. Свет фонарей мерцал на бегущих по стеклам струйках, крыша рокотала барабаном.

– Дворцовая, милейший.

И как последние два часа я гнал от себя мысли о предстоящем, старательно не слушая доносившиеся справа-слева обрывки вертевшихся вокруг несчастья разговоров, так теперь я, словно пыль из ковра, принялся выбивать из памяти лихорадочно ласковые Стасины руки и ее мертвенный, унесшийся в пустоту взгляд.

Великий князь Александр Петрович. Тридцать четыре года... было. Щепетильно порядочный человек, одаренный математик и дельный организатор. Мечтатель. Официально – глава российской части российско-североамериканского проекта «Арес-97». Фактически – правая рука престарелого Королева; ловил каждое слово великого конструктора, всегда готов был помочь делу и своим моральным авторитетом, и своим государственным влиянием. Мне доводилось несколько раз встречаться с ним на разного рода официальных и неофициальных мероприятиях, и от этих встреч всегда оставалось теплое чувство; на редкость приятный был человек. Невозможно представить, чтобы у него были враги. Такие враги.

Таксомотор вывернул на Забалканский проспект. Молодой шофер небрежно покручивал баранку и что-то едва слышно, угрюмо насвистывал. Сверкающее месиво капель валилось сквозь свет фар. Время от времени под протекторами коротко и свирепо рычали лужи.

«Арес-97». С той поры, как стало ясно, что термоядерный привод – дело неблизкое, решено было двинуться по тому отлаженному пути, каким с конца пятидесятых шли здесь, на планете. На стационарные гелиоцентрические орбиты в промежуток между орбитами Земли и Марса предполагалось обычными беспилотными устройствами с жидкостным приводом забросить две серии мощных гравиторов, которые, при определенном расположении – оно повторялось бы с периодичностью всего лишь в полтора года, – обеспечивали бы перемещение корабля практически любого тоннажа с постоянным ускорением десять метров в секунду за секунду. Инерционная фаза перелета, таким образом, вовсе ликвидировалась бы, космонавтам не пришлось бы сталкиваться ни с невесомостью, ни с ее неприятными последствиями, а время перелета сократилось бы со многих месяцев до – и это в худшем случае – недель. Помимо того, единожды подвесив в пространстве цепочку тяговых гравиторов, проблему коммуникации Земля – Марс можно было бы решить раз и навсегда – во всяком случае, пока не появятся некие принципиально новые возможности типа, например, прокола трехмерной метрики. Каждые полтора года, безо всяких дополнительных затрат, не прожигая многострадальную атмосферу новыми выхлопами дюз и минимально теребя еще не вполне изученные, но уже весьма настораживающие геофизические аспекты огненного пробоя неба, станет можно, если возникнет на то желание, отправлять к Марсу корабль хоть с двадцатью, хоть с тридцатью

людьми на борту или даже целые эскадры по восемь-десять кораблей с пятичасовыми интервалами; а горячие головы уже размечтались и о колонизации Красной планеты. Тяговая цепочка должна была состоять из двадцати звеньев – десять гравиторов обеспечивали бы разгон от Земли и обратное торможение на пути к Земле, десять – торможение на пути к Марсу и обратный разгон от Марса. Если учесть вдобавок, что за три десятка лет эксплуатации орбитальной сети гравиторов ни один лайнер не потерпел аварии на тяговом участке полета, такой вариант экспедиции выглядел не только более экологичным, не только более дешевым, но и куда более надежным, нежели любой реактивный, – даже если бы Ливермор или Новосибирск выдали наконец термометр. Полет намечался на сентябрь девяносто седьмого года. Осуществление проекта шло со всеми возможными реверансами и знаками уважения лидирующих стран друг к другу; с церемонной, поистине азиатской вежливостью соблюдался полный паритет. Голова в голову, гравитору к гравитору – мы штуку, и они штуку, приблизительно раз в полгода, но не обязательно в один и тот же день. Мы разгонный, и они разгонный. Они тормозной, и мы тормозной. На первую половину июля планировался очередной запуск – пятого и шестого из околоземной десятки; дату еще надо было уточнить и согласовать со штатниками. Пробыв два месяца безвылазно на тюратамском космодроме, великий князь вырвался на пару дней в столицу, чтобы отчитаться о готовности к делу перед государем, Думой и кабинетом.

Надобно незамедлительно снестись со штатниками и выяснить, не было ли у них попыток диверсий или покушений.

Или это какой-то их патриот шизоидный...

Бред.

Третьи страны... Есть отрывочные сведения о наличии в Японии, в Германии кругов, задетых малым, с их точки зрения, участием их держав в интернациональном проекте века. По их мнению, это роняло престиж их наций. Горе-националисты, пес их ешь. Хорошо, что их мало и что обычно их никто не слушает.

Немцы в свое время очень настаивали, чтобы «в целях соблюдения полного равновесия участия основных сторон» все старты осуществлялись с одного и того же космодрома, причем какой-либо третьей страны, и тут же с беззастенчивой настойчивостью предлагали свою космическую базу в море Бисмарка – не ближний свет возить туда через океан все материалы что штатникам, что нам!

Нет, нет. Бессмысленно сейчас строить версии. Я тут ничем не отличаюсь от располагающих нулевой информацией остолопов, болбочущих о масонском заговоре и о том, что Господь покарал за гордыню человека, вздумавшего влезть на небо. Слышал я сегодня такое – смотрел на Стасю, чувствовал Стасю, но слышал краем уха.

Все. Стася уже дома, в тепле, уже наверняка приняла ванну, залегла под одеяло с какой-нибудь книгой или рукописью, или телеэкран мерцает чем-нибудь развлекательным напротив постели – так славно бывает лежать рядом, обнявшись, щека к щеке, и бездумно-радостно смотреть какую-нибудь белиберду... Хватит! Что она сейчас думает обо мне – мне отсюда не изменить, хоть кулак изгрызи.

Или я слишком зазнаюсь и она сейчас совсем не обо мне думает?

А ведь каких-то пять часов назад она гортанно, протяжно вскрикивала подо мною... и танцевала: я счастливая!

Но – утром? Как презрительно она вела себя утром, у Джвари!

Господи, неужели это было? Неужели это было сегодня – жар, стрекот, синий простор? И самая большая трагедия – то, что родная женщина держится отчужденно.

Все, хватит.

Приехали.

2

Министерство госбезопасности располагалось в левом крыле старого здания Генштаба. Показав слегка удивленному моим видом казаку отсыревший пропуск, я взбежал по широкой лестнице на третий этаж – белый пиджак, светло-голубая рубашка с открытым воротом, белые брюки, белые летние туфли; ни дать ни взять миллионщик на палубе собственной яхты.

В туфлях хлопало. Нет, не миллионщик, конечно, – погонщик. Подневольный офицер.

Коридоры были пустынные, и казалось, здание спит, как и полагалось бы в этот час. Но по едва уловимым признакам, которых, конечно, не заметил бы никто чужой, я чувствовал, что там, за каждой закрытой дверью, – разворошенный муравейник. Естественно. Таких штук не случалось на Руси со времен графа Палена. Правда, был еще Каракозов – совсем большой человек... Да еще закомплексованный Пестель витийствовал в эмпиреях о цареубийстве во благо народных свобод. Интересно, оставить его с Александром Павловичем наедине – неужто и впрямь поднялась бы рука? Или крепостным передоверил бы – дескать, ты, Ванька, сперва выпусти по моему велению свою косою кишки помазаннику божию, а уж посла будет тебе воля... Перепугали мечтательные предки Николая Павловича так, что ему потом всю жизнь от слова «свобода» икалось – ну и вел себя соответственно, мел мыслителей из аппарата, оставлял одних неперечливых воров; чуть не прогадил Россию...

Секретарь – молодец, даже бровью не повел, завидев в сих суровых стенах такое чудо в перьях, как нынешний я.

– Иван Вольфович ждет вас, господин полковник. Прошу.

И растворил передо мною тяжелые двери.

Ламсдорф встал из-за стола и, отчетливо похрустывая плотной тканью вытуженного мундира, пошел ко мне навстречу, протянул обе руки. Костистое остзейское лицо его было печально вытянуто.

– Экий вы южненький, батенька, экий вы мокреный... Уж простите старика, что этак бесцеремонно выдернул вас из картвельских кущей в нашу дрякву. Вы возглавите следствие. И назначал не я. – Он потыкал пальцем вверх. – Есть факторы... То есть не подумайте, Христа ради, – он всерьез испугался, что допустил бестактность, – будто я вам не доверил бы... Но устали ж вы за весну, как черт у топки, мне ль не знать!.. Сюда, голубчик, присаживайтесь. Мы сейчас радиаторчик включим, подсохните. – Покряхтывая, он выкатил масляный обогреватель из-за выдавшей виды китайской ширмы, прикрывавшей уголок отдыха – столик, электрочайник, коробочки со сладостями; генерал был известный сладкоежка. Воткнул штепсель в розетку. – Чайку не хотите ли?

– Благодарю, Иван Вольфович, я так пообедался у князя Ираклия, что теперь два дня ни есть, ни пить не смогу. Давайте уж лучше к делу.

– Ай, славно, ай, мальчики мои молодцы! Хоть денек успели урвать. Какая жалость, что князь Ираклий так рано в отставку вышел!

– Ему в грузинском парламенте дел хватает.

– Да уж представляю... Тепло там?

– Тепло, Иван Вольфович.

– Цветет?

– Ох, цветет!

Он горестно вздохнул, уселся не за стол, а в кресло напротив меня. Закинул ногу на ногу, немилосердно дергая левую бакенбардину так, что она едва не доставала до эполета. В черное, полуприкрытое тяжелыми гардинами окно лупил дождь.

– К делу, говорите... Страшное дело, батенька Александр Львович, страшное... Уж и не знаю, как начать.

Я ждал. От радиатора начало помаленьку сочиться пахнувшее пылью тепло.

– В восемь сорок три вылетел цесаревич с Тюратама. С ним секретарь, профессор Корчагин, знали вы его...

– Не близко. Консультировался дважды.

– Ну да, ну да. Это когда вы от нас входили в госкомиссию по аварии на Краматорском гравимоторном. Помню, как же. – Он замолотил себя указательным пальцем по бакенбардам, затем снова поволок левую к плечу. – Врач, два офицера охраны и два человека экипажа, люди все свои, постоянные, который год с цесаревичем...

– Никто не спасся? – глупо спросил я. Жила какая-то сумасшедшая надежда, вопреки всему услышанному.

Иван Вольфович даже крикнул. Обиженно покосился на меня. Встал, сложил руки за спиной и, сутулясь, наискось пошел по кабинету. Поскрипывал паркет под потертым ковром.

– Батенька, – страдальчески выкрикнул генерал, остановившись у стола, – они же с трех верст падали! С трех верст! Что вы, право!

С грохотом выдвинув один из ящиков, он достал пачку фотографий и вернулся ко мне.

– Вот полюбуйтесь-ка на обломочки! Аэросъемка дала...

Да. Я быстро перебрал фотографии. Что да, то да. Иными фрагментами земля была вспахана метров на пять в глубину.

– Разброс обломков близок к эллиптическому, полторы версты по большой оси. И ведь не просто падали, ведь взрыв был, голубчик мой! Весь моторный отсек снесло-разнесло!

– Мина с часовым механизмом или просто сопряженная с каким-то маневром? Скажем, при первом движении элерона – сраба...

– Ах, батенька, – вздохнув, Ламсдорф забрал у меня фотографии и, выравнивая пачку, словно колоду карт, несколько раз побил ее ребром о раскрытую ладонь. – Разве разберешь теперь? Впрочем, обломки, конечно, будут еще тщательнейшим образом исследованы. Но, по совести сказать, так ли уж это важно?

– Важно было бы установить для начала, что за мина, чье производство, например.

– Вот вы и займетесь... Ох, что ж я, олух старый! – вдруг встрепенулся он. Размахивая пачкой, словно дополнительным плавником-ускорителем, он чуть ли не вприпрыжку вернулся к столу, поднял трубку одного из телефонов и шустро нащелкал трехзначный номер. Внутренний, значит.

– Ламсдорф беспокоит, как велели, – пробубнил он виновато. – Да, прибыл наш князь, уж минут двадцать тому. Ввожу помаленьку. Так точно, ждем.

Положил трубку и вздохнул с облегчением:

– Ну, что еще с этим... Взорвались уже на подлете, неподалеку от Лодейного Поля их пораскидало. Минут через шесть должны были от тяги отцепиться и переходить на аэродинамику... Так что с элеронами или с чем там вы хотели – не проходит, Александр Львович. С другой стороны – в Тюратаме уже тоже чуток надыбали. С момента предполетной техпроверки и до момента взлета – это промежуток минут в двадцать – к кораблю теоретически имели доступ четыре человека. Все – аэродромные техники, народ не случайный. Один отпал сразу – теоретически доступ он имел, но возможностью этой, так сказать, не воспользовался – работал в другом месте. Это подтверждено сразу пятью свидетелями. Все утро он долизывал после капремонта местную поисковую авиетку. Что же касается до трех остальных...

Мягко открылась дверь в дальнем конце кабинета. Не та, через которую впустили меня. Вошел невысокий, очень прямо держащийся, очень бледный человек в партикулярном, траурном; в глубине его глаз леденела молчаливая боль. Я вскочил, попытался щелкнуть каблуками хлюпающих туфель. До слез было стыдно за свое разухабистое курортное платье.

– Здравствуйте, князь, – тихо сказал вошедший, протягивая мне руку. Я осторожно пожал. Сердце заходило от сострадания.

– Государь, – проговорил я, – сегодня вместе с вами в трауре вся Россия.

– Это потеря для всей России, не только для меня, – прозвучал негромкий ответ. – Алекс был талантливый и добрый мальчик. Ваш тезка, князь...

– Да, государь, – только и нашелся ответить я.

– Иван Вольфович, – произнес император, чуть оборотясь к Ламсдорфу, – вы позволите нам с Александром Львовичем уединиться на полчаса?

– Разумеется, ваше величество. Мне выйти?

– Пустое. – Император чуть улыбнулся одними губами. Глаза все равно оставались как у побитой собаки. – Мы воспользуемся вашей западушной приемной. – И он сделал мне приглашающий жест к двери, в которую вошел минуту назад.

Там произошла заминка: он пропустил меня вперед – я, растерявшись, едва не споткнулся. Он мягко взял меня за локоть и настойчиво протолкнул в дверь первым.

В этой комнате я никогда не бывал. Она оказалась небольшой – скорее чуланчик, нежели комната; смутно мерцали вдоль стен застекленные стеллажи с книгами; в дальнем от скрытого гардинами, сотрясаемого ливнем окна углу стоял низкий круглый столик с двумя мягкими креслами и сиротливой, девственно чистой пепельницей посередине. Торшер, задумчиво наклонив над столиком тяжелый абажур, бросал вниз желтый сноп укромного света. Император занял одно из кресел, жестом предложил мне сесть в другое. Помолчал, собираясь с мыслями. Достал из брючного кармана массивный серебряный портсигар, открыл и протянул мне:

– Курите, князь, прошу.

Курить не хотелось, но отказаться было бы бестактным. Я взял, он тоже взял; спрятав портсигар, предложил мне огня. Закурил сам. Пальцы у него слегка дрожали. Придвинул пепельницу – ко мне ближе, чем к себе.

– Хороша ли княгиня Елизавета Николаевна? – вдруг спросил он.

– Благодарю, государь, слава богу³.

– А дочь... Поля, если не ошибаюсь?

– Не ошибаетесь, государь. Я благополучен.

– Вы еще не уведомили их о своем возвращении из Тифлиса?

– Не успел, государь.

– Возможно, пока еще и не следует на всякий случай... А! – С досадой на самого себя он взмахнул рукой с сигаретой и оборвал фразу. – Не мое это дело. Как лучше обеспечить успех – думайте вы, профессионалы. – Помолчал. – Я предложил, чтобы вы, князь, возглавили следствие, по некоторым соображениям, их я раскрою чуть позже. А пока что...

Он глубоко затянулся, задумчиво глядя мне в лицо выпуклыми, тоскующими глазами. Сквозь конус света над столиком, сонно переливая формы, путешествовали дымные амебы.

– Скажите, князь, ведь вы коммунист?

– Имею честь, государь.

– Дает ли вам ваша вера удовлетворение?

– Да.

– Дает ли она вам силы жить?

– Дает, государь.

– Как вы относитесь к другим конфессиям?

– С максимальной доброжелательностью. Мы полагаем, что без веры в какую-то высшую по отношению к собственной персоне ценность человек еще не заслуживает имени человека, он всего лишь чрезвычайно хитрое и очень прозорливое животное. Более того, чем многочисленнее веры – тем разнообразнее и богаче творческая палитра человечества. Другое дело – как

³ Слово «Бог» произносят с большой буквы истинно верующие, и с маленькой – те, у кого это лишь привычное присловье, наравне, например, с «елки-палки» или «мать честная». (Прим. авт.)

эта высшая ценность влияет на их поведение. Если вера в своего бога, в свой народ, в свой коммунизм или во что-либо еще возвышает тебя, дает силы от души дарить и прощать – да будет славен твой бог, твой народ, твой коммунизм. Если же вера так унижает тебя, что заставляет насилловать и отнимать, – грош цена твоему богу, твоему народу, твоему коммунизму.

– Что ж, достойно. Не затруднит ли вас в двух словах рассказать мне, в чем, собственно, состоит ваше учение?

Вот уж к этому я никак не был готов. Пришлось всерьез присосаться к сигарете, потом неторопливо стряхнуть в пепельницу белоснежный пепел.

– Государь, я не теоретик, не схоласт...

– Вы отменный работник и безусловно преданный России человек – этого довольно. Разглагольствования богословов меня всегда очень мало интересовали, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Теоретизировать можно долго, если теория – твой удел; но в каждодневном биении сердца любая вера сводится к нескольким простым и самым главным словам. Я слушаю, князь.

Я еще помедлил, подбирая слова. Он смотрел ободряюще.

– У всех стадных животных, государь, существуют определенные нормы поведения, направленные на непринятие неоправданного вреда друг другу и на элементарное объединение усилий в совместных действиях. Нормы эти возникают вполне стихийно – так срабатывает в коллективе инстинкт самосохранения. Человеческая этика, в любой из ее разновидностей, является не более чем очередной стадией усложнения этих норм ровно в той мере, в какой человек является очередной стадией усложнения животного мира. Однако индивидуалистический, амбициозный рассудок, возникший у человека волею природы, встал у этих норм на пути. Оттого-то и потребовалось подпирать их разнообразными выдуманскими сакральными авторитетами, лежащими как бы вне вида Хомо Сапиенс, как бы выше его. И тем не менее, сколь бы ни был авторитетен тот или иной божественный источник призывов к добру и состраданию, всегда находились люди, для которых призывы эти были пустым звуком, ритуальной игрой. С другой стороны, всегда находились люди, которым не требовалась ни сакрализация, ни ритуализация этики; в простоте своей они вообще не могут вести себя неэтично, им органически мерзок обман, отвратительно и чуждо насилие... И то и другое – игра генов. Один человек талантлив в скрипичной игре, другой – в раскрытии тайн атомных ядер, третий – в обмане, четвертый – в творении добра. Но только через четвертых в полной мере проявляется генетически запрограммированное стремление вида сберечь себя. Мы убеждены, что все создатели этических религий, в том числе и мировых – буддизма, христианства, ислама, – принадлежали к этим четвертым. Ведь, в сущности, их требования сводятся к одному интегральному постулату: благо ближнего превыше моего. Ибо «я», «мой» обозначает индивидуальные, эгоистические амбиции, а «ближний», любой, все равно какой, персонифицирует вид Хомо. Расхождения начинаются уже на ритуальном уровне, там, где этот основной биологический догмат приходится вписывать в контекст конкретной цивилизации, конкретной социальной структуры. Но беда этических религий была в том, что они, дабы утвердиться и завоевать массы, должны были тем или иным образом срастаться с аппаратом насилия – государством и, начиная включать в свои заповеди требования насилия, в той или иной степени превращались в свою противоположность. Всякая религия стремилась стать государственной, потому что в этой ситуации все ее враги оказывались врагами государства с его мощным аппаратом подавления, армией и сыском. Но в этой же ситуации всех врагов государства религии приходилось объявлять своими врагами – и происходил непоправимый этический надлом. Это хорошо подтверждается тем, что чем позже возникала религия, то есть чем более развитые, жесткие и сильные государственные структуры существовали в мире к моменту ее возникновения, тем большую огосударвленность религия демонстрирует. От довольно-таки отстраненного буд-

дизма через христианство, претендовавшее на главенство над светскими государями, к создавшему целый ряд прямых теократий исламу.

– Очень логично, – сказал император. Он слушал внимательно, чуть подавшись вперед и не сводя пристальных глаз с моего лица. Вяло дымились забытые сигареты.

– Мы полностью отказались от какого бы то ни было ритуала. Мы совершенно не стремимся к организованному взаимодействию со светской властью. Мы апеллируем, по сути, лишь к тем, кого я называл четвертыми, – к людям с этической доминантой в поведении. Им во все времена жилось нелегко, нелегко и теперь. Они совершенно произвольно принимают на себя первый удар при любых социальных встряшках, до последнего пытаются стоять между теми, кто рвется резать друг друга, – и потому зачастую их режут и те и другие. Они часто выглядят и оказываются слабее и беспомощнее в бытовых дрызгах... Мы собираем их, вооружаем знаниями, объясняем им их роль в жизни вида, закаляем способность проявлять абстрактную доброту чувств в конкретной доброте поведения. Мы стараемся также облегчить и сделать почетным уподобление этим людям для тех, кто не обладает ярко выраженной этической доминантой, но по тем или иным причинам склоняется к ней. Это немало.

– Чем же заняты ваши... уж не знаю, как и сказать... теоретики?

– О, у них хватает дел. Ну, например. Сказать: благо ближнего важнее – это просто. Просто и претворить эти слова в жизнь, когда с ближним вы на необитаемом острове. Но в суетном нашем мире, где ближних у нас уж всяко больше одного, ежечасно перед человеком встают проблемы куда сложнее тех, что решают математики в задачах о многих телах.

– Неужели и здесь вы считаете возможным выработать некие правила?

– Правила – никоим образом, государь. Но психологические рекомендации – безусловно. Определенные тренинги, медитативные практики... но я не силен в этом, государь, прошу простить.

– Хорошо. – Он наконец стряхнул в пепельницу длинный белый хвостик пепла, уже изогнувшийся под собственной тяжестью. – Я как-то упустил... Ведь коммунизм начинался как экономическая теория.

– О! – Я пренебрежительно махнул рукой. – Ополоумевшая от баракла Европа! Похоже, Марксу поначалу и в голову ничего не шло, кроме чужих паровых котлов и миллионных состояний! «Бьет час капиталистической собственности! Экспроприаторов экспроприируют!» В том, что коммунисты отказались от вульгарной идеи обобществления собственности и поднялись к идее обобществления интересов, – львиная заслуга коммунистов вашей державы, государь.

– Ленин... – осторожно, будто пробуя слово на вкус, произнес император.

– Да.

– Обобществление интересов – это звучит как-то... настораживающе двусмысленно.

– Простите, государь, но даже слово «архангел» становится бранным, когда его произносит сатана. Речь идет, разумеется, не о том, чтобы всем навязать один общий интерес, а о том, чтобы всякий индивидуальный интерес учитывал интересы окружающих и, с другой стороны, чтобы всякий индивидуальный интерес, весь их спектр, был равно важным и уважаемым для всех. Это – идеал, конечно... как и всякий религиозный идеал.

– В молодости я читал какие-то работы Ленина, но признаюсь, князь, они не заинтересовали меня, не увлекли.

Я помедлил.

– Рискну предположить, государь, что в ту пору вы были молоды и самоуверенны. Жизнь представлялась веселой, азартной игрой, в которой все козыри у вас на руках.

– Возможно. – Император улыбнулся уголками губ. – При иных обстоятельствах я с удовольствием побеседовал бы с вами и об этом, вы изрядный собеседник. Но сперва покончим с тем, что начали. В изложенном вами я не вижу религиозного элемента. Вполне здравое,

вполне материалистическое, чрезвычайно гуманистическое этическое учение, и только. Через несколько минут вы поймете, почему я так этим интересуюсь. Скажите мне вот что. Возможен ли религиозный фанатизм в коммунизме и какие формы он может принять, коль скоро сам коммунизм религиозного элемента, как мне кажется, не имеет?

– Ваше величество, чем отличается этическая религия от этического учения? Лишь тем, что ее догматы опираются на некий священный авторитет, некую недосказанную истину, каковая, в сущности, и является предметом веры, – а все остальные предписания уже вполне материалистично вытекают из нее. Священным авторитетом для нас является вид Хомо. Недоказуемой истиной, в которую нужно поверить всем сердцем, – то, что вид этот заслуживает существования. Ведь это не из чего не следует логически. Никто не написал этого кометами на небесах. Люди вели и ведут себя зачастую так, словно бы им все равно, родится ли следующее поколение или нет. Презрение к людям лежит в основе такого поведения – подсознательно укоренившееся, в частности, еще и оттого, что все религии рассматривают наше бытие лишь как предварительный и греховный этап бытия вечного. Уверовать в то, что сей греховный муравейник есть высшая ценность, – нелегко, а иным и отвратительно. То, что я рассказывал прежде, было от ума, а вот то короткое и главное из сердца, что вы просили, государь, своего рода символ веры. Род людской нуждается в существовании, значит, каждый человек нуждается в помощи, значит, всякое мое осмысленное действие должно приносить кому-то пользу. И речь идет не только о благотворительности или тупом жертвовании собой. Коль скоро наш сложный социум для своей полноценной жизни требует тысяч разнообразных дел, лучше всего помогать людям я могу, делая как можно лучше свое дело. Значит, всякий мой успех – для людей, но ни в коем случае – люди для моего успеха.

– Достойная вера, – проговорил император. – Я мог бы, правда, спорить относительно грешного муравейника как высшей ценности, но спор по поводу истинности недоказуемых истин... или, скажем, даже так – равнодоказуемых истин, есть удел злобных глупцов, ищущих повода для драки.

– Истинно так.

– А в целом вы столь привлекательно и убедительно это изложили... все кажется таким естественным и очевидным, что впору мне принимать ваши обеты.

– Я был бы счастлив, ваше величество, – сказал я. – Но, боюсь, для российского государя сие непозволительно формально.

Он снова чуть усмехнулся:

– Я слышан о том, что ваши товарищи в подавляющем большинстве своем являются прекрасными людьми и в высшей степени надежными работниками. Мне отраднo видеть, что влияние вашей конфессии неуклонно растет, ибо ее благотворное влияние на все сферы жизни страны неоспоримо. И теперь я лучше понимаю почему. Но вот в чем дело...

Глаза его опустились, теперь он избегал встретиться со мною взглядом. Помедлив, он вновь достал и открыл портсигар. Протянул мне. Я отрицательно качнул головой. Император, поразмыслив, защелкнул портсигар и убрал.

– Иван Вольфович уже сказал вам, что в круге подозреваемых с самого начала оказалось только четыре человека. Один отпал сразу. Двое других уже найдены, допрошены и отпущены; очевидно, они ни в чем не замешаны. Некие странности, как мне сказали, были замечены незадолго до катастрофы в поведении четвертого... Смотрите, какое совпадение – в моем перечислении, как и в вашем, он четвертый. И этот четвертый исчез.

– Как исчез?

– Его нигде нет. Его не нашли ни на работе, ни дома, ни в клубе... Он не уезжал из Тюратама. И похоже, его нет в Тюратаме. И он... он – коммунист, Александр Львович. Ваш товарищ.

Я сцепил пальцы.

– Теперь понимаю.

– Я предлагаю вам, именно вам взяться за это дело, ибо мне кажется, вы лучше других сможете понять психологию этого человека, проанализировать его связи, представить мотивы... Бог знает, что еще. Но именно поэтому я предоставляю вам и право тут же отказаться от дела. Никаких нареканий не будет. Возвращайтесь в Грузию, возвращайтесь домой, куда хотите, вы заслужили отдых. Если совесть не позволяет вам вести дело, где основным подозреваемым сразу оказался член вашей конфессии...

– Позволяет, – чуть резче, чем хотел, сказал я. – Более того, я должен в этом разобраться. Тут что-то не так. Я не верю, что коммунист мог поднять руку на наследника престола... да просто на человека! Я берусь.

– Благодарю вас, – сказал император и встал. Я сразу вскочил. – Как осиротевший отец благодарю. – Он помедлил. – За тарбагатайское дело, с учетом прежних заслуг, министр представил вас к ордену Святого Андрея Первозванного. Через Думу представление уже прошло, и приказ у меня на столе.

– Это незаслуженная честь для меня, – решительно сказал я. – Первым кавалером ордена был генерал-адмирал граф Головин, одним из первых – государь Петр... – Я позволил себе чуть улыбнуться. – Все мои прошлые, да и будущие заслуги вряд ли могут быть сопоставлены с деяниями Петра Великого.

– Кто знает, – уронил император. – Но я подожду подписывать приказ до конца этого расследования. – Он нарочито помедлил. – Чтобы не отвлекать вас церемонией награждения... Теперь – Бог с вами, князь. Ступайте.

3

Было около трех, когда я вошел в свой кабинет. Усталость давала себя знать, и кружилась голова – почти бессонная веселая ночь накануне, Джвари и Сагурамо, Ираклий и Стася, киндзмараули и ахашени; а потом, судорожным рывком, словно кто-то казацкой шашкой полоснул по яркой театральной декорации, вновь МГБ и эта странная аудиенция... Сколько всего уместилось в одни сутки!

Но я благодарил судьбу, что это дело досталось мне. Что-то в нем было не так.

Я вскипятил немного воды, сделал крепчайший кофе, насыпав с горя в чашку сразу ложки четыре. Пока дымящаяся густая жидкость остывала до той кондиции, чтобы пить можно было не шпарясь, все-таки выкурил еще одну сигарету. Прихлебывая, тупо созерцал, как ползают по воздуху, извиваясь, прозрачно-серые ленты. Платье мое уж высохло, от кофе я наконец согрелся окончательно.

Ватная тишина забухла в кабинете. Даже дождь угомонился, и с площади, от окна, не доносилось ни звука.

Стася, наверное, уже спит. Если только не мучается, бедняга, бессонницей снова. Впрочем, вряд ли, она сегодня так устала. Меня вдруг словно кинули в кипяток; перед измученными, пересохшими глазами вдруг ослепляюще полыхнуло ярче яви: в медовом свете южного вечера она проводит по вишневым, чуть припухшим губам – хочешь сюда? Телеграмма уже лежала в шифраторе, но я думал, что целая ночь впереди! Вот она, эта ночь. Зеленое время на табло настольных электронных часов мерно перепархивало с одной цифры на другую. Три двенадцать.

И Лиза спит, конечно.

Или я ничего не понимаю, а она, давно догадавшись обо всем, одиноко лежит без сна и мысленно видит меня там, в кипарисовом раю, обнимающим не ее?

Даже страшно утром звонить.

Вот он, мой кипарисовый рай. Не сдержавшись, я с силой ударил ладонями по столу. Звук оказался святотатственно громким.

И Поля, разумеется, спит без задних ног. Если только не забралась под одеяло с лампой и книжкой, если только не портит опять глаза, паршивка. Сколько раз мы с Лизой ловили ее на этом, объясняли, уговаривали – нет, как об стену горох.

Я вдруг сообразил, что уже по ним соскучился.

Может, поехать домой прямо сейчас? Здесь рядом. Может, они обрадуются.

Ведь все равно до утра начать работать невозможно.

Невозможно. Невозможно, чтобы коммунист стал убийцей. Не верю. Тут что-то не так.

На пробу я ткнул пальцами в кнопки селектора. И, совершенно противу всяких ожиданий, немного сиплый голос Куракина сразу отозвался:

– Слушаю.

– Федор Викентьевич, дорогой! Никак не ожидал вас застать...

– Александр Львович! Да как это не ожидали, Ламсдорф не сказал вам, что ли? Он же категорически запретил мне уходить, еще в конце дня позвонил и сказал, что вы будете с минуты на минуту и что я непременно вам понадоблюсь. Спите, говорит, по крайности за столом.

– Ну и как, спали?

– Сейчас вот покемарил часок. – Он откашлялся.

– Ну и чудесно. Зайдите ко мне.

Через минуту заместитель мой уже входил в кабинет; лицо бодрое, словно и не спал только что, скрючившись в служебном кресле, – кто сказал, что крепостное право отменили?

Мундир будто сейчас из-под утюга, любо-дорого глядеть. Не то что я. Куракин вошел и, не сдержавшись, по-свойски прыснул:

– Да, извлекли вас, видать, из климата не в пример благостнее нашего!

– Зато всем сразу видно, как я спешил. Будем вести следствие по катастрофе «Цесаревича», поздравляю вас.

– Значит, вы взялись? Вольфович сказал, что это еще не точно.

– Это точно. Да вы садитесь, Федор Викентьевич, в ноги правды нет. Особенно в такой час. С Лодейнопольским гэ-бэ связывались?

– Неоднократно.

– Сбор фрагментов они завершили?

– На момент последнего разговора – это в двадцать один ноль две было...

Как раз когда мы со Стасей, перемурлыкиваясь, спускались в гостиную.

– ...не закончили. Очень уж много мелочи, грунт порой буквально просеивать приходится. А там еще речушки, болота...

– Хорошо. То есть плохо, конечно, но шире штанов не зашагаешь. Завтра спозаранку надо связаться с кем-нибудь из ведущих конструкторов и узнать тактично: не мог ли, черт возьми, мотор сам дать такой эффект. Ну, хоть один шанс из миллиона – вдруг что-то там перегорело, перегрелось, расконтачилось...

– Ламсдорф уже связывался. Профессор Эфраимсон с кафедры гравимеханики Политеха клялся, что это абсолютно исключено.

– Ученые головы умные, Федор Викентьевич, но квадратные. Тут практик нужен. О! Я сам свяжусь с Краматорским гравимоторным, там меня должны помнить, побеседуем задумшевно. Дальше. Надобно послать одного-двух наших экспертов для тщательнейшего исследования фрагментов. Пусть найдут остатки мины. Чья мина? Какая? Как устроена? Если они этих остатков вообще не найдут, то пусть хоть просчитают, какого характера был взрыв, какой силы... И – быстро! И все обломки – к нам, сюда. С ними возиться придется, я думаю, не раз и не два.

– Понял.

– Завтра я вылечу в Тюратам. Там что-то интересное уже нащупали, я так понял Ламсдорфа, но это все – испорченный телефон.

– Кого бы вы хотели взять?

Я помедлил.

– Совсем я отупел на югах. Впереди телеги лошадь запрягаю. Давайте-ка мы очертим круг лиц, участвующих в деле. И кроме них уже – ни-ни. Пусть будет нас, скажем, четыре группы. Вы – мой заместитель, так им и будете; ни в какую из групп ни вы, ни я не входим. Общее руководство, так сказать. Группа «Аз» – эксперты, мозговой центр. Специалист по гравимеханике, специалист по взрывным устройствам и... вот еще что. Специалист по измененным состояниям психики.

Брови Куракина чуть дрогнули:

– Это как?

– По правде сказать, сам толком не знаю. Посмотрите среди врачей-наркологов, что ли... Кто-то, кто разбирается в аффективных действиях, в действиях в состоянии наркотического бреда... В гипнопрограммировании, вот! Это еще лучше.

– Понял, – с сомнением сказал Куракин.

– Три человека. Группа «Буки» – скажем, тоже три человека. Этим суждено рыться в архивах, картотеках, поднимать, когда понадобится, пыль ушедших лет. Группа «Веди» – обычные детективы. Ну, не обычные, конечно, а получше. Думаю, нам будет зеленая улица, дадут любых. Четыре человека. И группа «Добро» – скажем, шесть человек. Наша охрана. И на них же, в случае необходимости, выпадет силовое взаимодействие с возможным противником.

Я намеренно пропустил четвертую букву алфавита. В подобных случаях я всегда поступал так. Пусть нашим боевикам уже само название их отряда постоянно напоминает о цели, о смысле их деятельности. А то знаю я – с пистолетом в руке, под пулями очень легко сорваться в бестолковую ненависть. Были прецеденты.

– Подработайте состав пофамильно, Федор Викентьевич. А я посмотрю. Часа вам хватит?

– Попробую.

– Попробуйте. Я буду здесь.

– Разрешите идти?

– Да, конечно. Какие уж тут политесы!

Дверь за ним закрылась, и снова в уши будто впихнули по целому мотку ваты. Глаза жгло. Словно я отсидел глазные яблоки. И начинала болеть голова – запульсировало то ли в затылке, то ли в темени. Скорее всего и там и там. За окнами не светлело, хотя уже шло к четверем. Как часто бывает, вместо белых ночей природа подсовывала нам черные тучи.

Очень хотелось уже позвонить Лизе. И Стасе. И той и другой. Просто узнать, как они там. Нет, пожалуй, сначала Стасе. За нее я беспокоился больше, она могла простудиться в аэропорту.

Что это я там ляпнул государю о тяготах, переживаемых математиками при решении задач о многих телах? Вот уж действительно, что телах, то телах.

Нет, в такой час звонить домой – в тот ли дом, в этот ли – совершенно невыносимо. И я позвонил в Лодейнопольский отдел – уж там-то наверняка кто-нибудь не спит.

Там действительно не спали, более того, дожидались звонка из столицы. Сбор фрагментов гравилета был прекращен в двадцать три сорок семь. То, чего не нашли, уже не найдет никто, разве что по случаю, – дождь, земля размокла, болота вздулись... Все, что удалось отыскать, с максимальной осторожностью сложено под крышей, в приемной отдела и на лестнице. Лодейнопольцы сами даже не пытались как-то анализировать найденное, даже грязь не считали, боясь что-то упустить или видоизменить ненароком. Я одобрил и сказал, что не позже полудня эксперты будут.

Так. Чуть не забыл. То есть совершенно забыл; попервоначально подумал, а потом забыл в суматохе – и понятно, собственно, почему. В работоспособность этой версии я не верил. Но для очистки совести решил раскрутить ее до конца. Чем черт не шутит. Позвонил в шифровальный – там дежурство круглосуточное, не то что дома.

Впрочем, у дома иные прелести.

– Трубецкой говорит.

Там уже знали, что это значит.

– Вашингтонскому атташе Каравайчуку. «Строго секретно. Срочно. Постарайтесь как по официальным каналам, так и любыми иными доступными вам средствами узнать, не происходило ли когда-либо, особенно в последнее время, попыток диверсий либо террористических актов в сфере североамериканской части проекта «Арес-97». Не имеет ли ФБР данных о готовящихся в настоящее время или предотвращенных в прошлом акциях подобного рода. Мотив не камуфлируется: МГБ России в связи с катастрофой гравилета «Цесаревич» отрабатывает версию, согласно которой некие силы оказывают противодействие реализации проекта в целом. Центр». Немедленно зашифруйте и отправьте.

С этим тоже пока все.

Что же меня так насторожило? Слепая убежденность в том, что товарищ по борьбе не способен на преступление, – это, конечно, лирика; хотя и ее сбрасывать со счетов не стоит, но полагать, будто человек, когда-то давший обет «всяким своим умыслом и деянием по мере сил и разумения стремиться к вящей славе рода человеческого», может порешить ближнего своего, лишь сойдя с ума, – все же перебор. Но ведь было еще... Как сказал государь? «Странности были замечены в его поведении незадолго до катастрофы». Вот. Какие странности? Почему Ламсдорф ничего подробнее не сказал? Вздор, вздор, хорошо, что не сказал, надо лететь и разбираться самому. Еще четыре часа ждать. Хуже нет – ждать. И что особенно обидно и тягостно – сейчас делать нечего, а придет утро, и хоть разорвись: и Лиза, и Стася, и Тюратам, и Лодейное Поле...

Дверь открылась, и влетел, помахивая листком бумаги, радостный Куракин.

– Есть такой специалист! – крикнул он, широко шагая к столу. Уселся, кинул ногу на ногу и пустил ко мне через стол лист с рядами фамилий. – Странно даже, что мы сразу не сообразили. Это от бессонницы, не иначе. Я поначалу даже обиделся – заданнице, думаю, типа зашибись. Пойди туда – не знаю куда. Но компик все держит в бестолковке. Вольдемар Круус, помните? Он деблокировал память гипноамнезийникам, проходившим по делу «Зомби».

Еще бы не помнить. Действительно, странно, что не сообразили сразу. Не раскачались еще. Круус – блестящий психолог.

– Другое дело, – сменил тон Куракин, – я не понимаю, зачем он вам понадобился... в данном случае. Вот список, посмотрите.

– Уже смотрю, – ответил я, вчитываясь в фамилии. – Так, «Аз» – отлично... угу...

Куракин был явно доволен собою. Управился почти на четверть часа раньше срока.

– «Буки» – согласен. Молодцом, Федор Викентьевич.

Он цвел. От сонной припухлости щек, что я отметил час назад, не осталось и следа.

– «Веди» – согласен. Отличные ребята. «Добро»... стоп. Тарасов?!

– Что такое? – растерялся Куракин.

Я поднял лицо от списка. Только таких вот проколов не хватало нам с самого начала. Ужасно не хотелось устраивать разнос тому, кого минуту назад заслуженно хвалил, но...

– Он же буддист!

Майор молчал, хлопая ресницами. Кажется, он еще не понимал.

– Кто дал вам право, майор Куракин, ставить человека в ситуацию, в которой почти наверняка от него потребуются выбирать между долгом по отношению к требованиям его веры

и долгом по отношению к делу и соратникам? Вы что, не понимаете, к какой психологической травме это может привести?

Куракин на глазах становился красным как рак.

– Я уж не говорю об интересах дела. Тарасов – прекрасный сыскарь, спору нет, но при огневом контакте с возможным противником вполне может засбоить. А это не шутки!

У бедняги даже лоб вспотел. А глаза сразу погасли – стали как у снулой рыбы.

– Виноват, господин полковник, – безнадежно проговорил он.

– Такие мелочи могут дорого стоить. А кандидатура хорошая, давайте перебросим его в «Веди». А на его место поставим, например, Веню Либкина. Я его помню по Тарбагатаю, отличный боец.

– Он в отпуске, – тихонько сказал Куракин.

Я взял свой тропический пиджак за лацканы и помахал ими, как крыльями.

– Вообще-то я тоже в отпуске... Ну да ладно. Пусть кто-нибудь иной, посмотрите сами. Веня тоже устал.

Уселся обратно, подпер гудящую голову обоими кулаками и стал читать дальше.

Список завершал Рамиль Рахчиев, и я снова улыбнулся. Это уж то ли майор хотел сделать мне приятное, то ли мальчик еще вчера, заслышав, что дело дают мне, загодя напросился сам. Он старался повсюду быть ко мне поближе, и, признаюсь, я сам испытывал к молодому крымчаку нечто вроде отцовских чувств. С отцом Рамиля, крупным океанологом Фазилем Рахчиевым, я познакомился восемь лет назад; обстоятельства знакомства не слишком располагали к нежным чувствам: кто-то из экипажа «Витязя», пользуясь тем, что у науки нет границ и корабль заходит в самые разные порты, переправлял на нем разведданные для, как быстро удалось выяснить, иранской спецслужбы, а когда мы сели вражине на хвост, он умело и удачно постарался навести подозрения на Рахчиева, благо тот был единственным мусульманином на судне. Но я не купился, и мы с Фазилем подружились, и я стал желанным гостем в его доме, в крымской деревеньке Отузы.

Блаженно и мечтательно улыбаясь листу бумаги, я свесил голову меж кулаков. Три года подряд мы с Лизой и Полей гостили у них летом, снимали двухкомнатный коттедж с верандой в полуверсте от моря, в уютнейшей Отузской долине, у самого Карадага. Как сладко было ехать в насиженное, быстро ставшее родным местечко – катить по шоссе от Симферополя через Карасу-базар на Феодосию, за Узун-Сыртом поворачивать направо... и на каждом перекрестке пропеченные солнцем крымчаки прямо из распахнутых багажников своих авто наперебой предлагают ледяной кумыс и благоуханные медовые дыни. Море дивное, природа красоты удивительной; на весельной лодчонке плавали с визжащей от восторга Полькой к Шайтановым воротам, в золотом рассветном мерцании поднимались на Карагач, к Скалам-Королям, встречать безмятежно всплывающий из-за Киик-Атлама солнечный диск, купались в карадагских бухтах до истомы... а уложив Полину спать, убежали с Лизой за медовую скалу и в двух шагах от поселка, но уже в дикой, скифской степи, прямо под пахнувшими сухой полынью звездами молодо любили друг друга. А по утрам Полушка-толстушка, нахалка такая, – в ту пору она действительно была, мягко говоря, полновата, это сейчас вытянулась в лозиночку, – кралась к хозяйскому дому подсматривать, как знаменитый океанолог, подстелив под колени коврик и повернувшись лицом на юго-восток, оглаживая узкую бороду, что-то беззвучно говорит и по временам бьет поклоны; и, возвращаясь, делала страшные глаза и громогласным шепотом рассказывала: «А потом он делает знаешь как? Он делает вот так! А потом вот так лбом – бум! Совершенно все не по-нашему! А губами все время: бу-бу-бу! бу-бу-бу! Так красиво! Пап, а если я уже крещеная, я могу стать мусульманкой?» – «Маму спрашивай». – «Мам?» – «Нельзя». – «Ой, как жалко! Ну почему нельзя сразу и то, и то?!» А по вечерам часами сидели за длинным столом у хозяйского дома, под виноградными сводами, – «немножко кушали»; Роза Рахчиева делилась секретами татарской кухни, Лиза – секретами русской и прибалтий-

ской; Фазиль рассказывал про моря, я – про шпионов, и кончавший школу, стремительный и сильный, как барс, Рамиль слушал, думал и выбрал героем меня. Как же он счастлив был, когда после выпуска из училища оказался в Петербурге, со мною рядом.

А после долгого ужина, уложив Поленьку спать, убежали с Лизой купаться по лунной дорожке и прямо на знаменитой карадагской гальке или даже в воде...

– Господин полковник!

Куракин осторожно тронул меня за плечо. Я вздрогнул; и тут-то голова моя наконец провалилась между разъехавшимися кулаками.

– А? Что?

– Господин полковник, проснитесь!

4

– Лизанька, доброе утро.

– Саша, милый! Здравствуй! Откуда ты?

От облегчения у меня даже колени размякли. Я присел на стол, чувствуя, что губы сами собой начинают улыбаться. Голосок родной, обрадованный, безмятежный. Все хорошо.

– Представь, я здесь. Но ненадолго.

– Что-нибудь случилось?

И встревожилась сразу по-родному. Не отчуждаясь, а придвигаясь ближе.

– Да нет, пустяки. Я заскочу сейчас домой на часок. Может, ты не пойдешь в универ нынче... или хотя бы отложишь?

В летнее время Лиза давала консультации по европейским языкам для абитуриентов. Остальной год – там же преподавала. И занятие доброе, и все ж таки еще какие-то деньги. Лишних не бывает.

– Постараюсь. Сейчас позвоню на кафедру.

И ни одного лишнего вопроса, умница моя.

– Как Полушка?

– Все хорошо. Новую сказку пишет всюю! На тех, кто умел думать только о еде, напал великан-обжора...

– Изященько. Ох, ладно, что по телефону. Бегу!

– Ты голодный?

– Не знаю. Наверное, да.

– Поняла, сейчас распорядюсь. Жду!

Обычно я ходил домой пешком. Монументальные места, дышащие по-северному сдержанным имперским достоинством; из всех городов, что я видел, такую ауру излучают лишь Петербург да Стокгольм. Через Дворцовую площадь, под окнами «чертогов русского царя», как писал Александр Сергеевич когда-то, и на выбор: либо через мост к университету и Академии художеств, мимо возлюбленных щербатых сфинксов, либо по набережной мимо львов к Синоду, либо через Адмиралтейский сквер и Сенатскую площадь, а дальше опять-таки через мост, Николаевский; потом, похлопав по постаменту задумчивого Крузенштерна, еще чуток вдоль помпезной набережной и направо, к небольшому, ухоженному особняку в Шестнадцатой линии. Но теперь не было времени, я вызвал авто.

Я как обнял ее, так и не мог оторваться. Светлая, свежая, нежная, и даже угловатый деревянный крестик из-под ее халата вклинился мне в грудь по-родному. Она прятала лицо у меня на груди и стояла смирно и думала, наверное, о бедных абитуриентах, которые придут к урочному часу и с раздражением узнают, что занятия перенесены на полдень. Я слышал, как колотится ее сердце, и сам терял дыхание. Скользнул ладонью по ее гибкой спине, потом еще ниже, плотнее прижимая ее тело к своему. Возбуждение этих диких суток сказывалось

во всем; Лиза, послушно прильнув бедрами, чуть запрокинулась, подняла порозовевшее лицо, заглядывая мне в глаза, и с задорно утрированным изумлением спросила:

– Ой, что это там такое острое?

На ранний шум из двери ведущего в детскую коридорчика высунулась Поля и, мгновенно срисовав обстановку, с визгом скатилась по лестнице к нам. Скоро маму догонит ростом. Широко распахнула тоненькие руки и загребла в объятия нас обоих. Она с ранних лет очень любила, когда мы обнимаемся, и всегда норовила присоединиться. Иногда даже сама начала возглавлять: «Что это вы ровно брат с сестрой сидите? А ну обнимитесь! Поцелуйтесь!» И когда мы, посмеиваясь, соприкасались губами, восторженно и хищно взвизгивала, с размаху прыгала к нам на колени, одной рукой обнимала за шею меня, другой – маму и совалась мордашкой к нам, чтобы целоваться а-трау.

– Папенька приехал! Папчик! Наш любименький! А я не успела дописать сказку! А ты уже отдохнул?

– Да, Полька, – ответил я. – Я уже отдохнул.

– Здорово, мам, правда? Как быстро!

– Долго ли умеючи, – сказала Лиза. У нее было счастливое лицо. Она приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в небритый подбородок.

5

Гудок. Гудок. Гудок. Еще гудок. Неужели успела куда-то уйти? Мутное марево сотен приглушенных разговоров и сотен шаркающих шагов висело в громадном зале, время от времени его продавливал шкворчащий голос громкоговорителей, объявляющих рейсы. Невозмутимый доктор Круус, свесив в длинной руке строгий чемоданчик, стоял поодаль и все посматривал на часы. Шалишь, до посадки еще восемь минут. Климов и Григорович из группы «Веди», азартно жестикулируя, что-то доказывали друг другу, присев прямо на ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж.

Щелчок.

– Стасенька, алло! Доброе утро!

– Саша! – Голос измученный, больной. – Господи, ну нельзя же так! Я всю ночь не спала, ждала, когда ты позвонишь...

Вот тебе.

– А я, наоборот, боялся разбудить, думал – отдыхаешь.

– Да уж отдохнула, поверь. Врагу не пожелаешь. Ты где?

– В аэропорту. Улетаем сейчас по делам.

– Надолго?

– Точно не знаю. На несколько дней, не больше.

– Ты успел поспать?

– Да, конечно.

– Домой забежал? – Вопросы заботливые, а тон чужой. «Повинность исполняю... от сердца улетаю...» Может, это она уже исполняет повинность? При таком тоне можно отвечать лишь, что все в порядке.

– Все в порядке. Забежал, конечно.

– Тебя покормили? В сухое переоделся?

– Все-все в порядке. Ты-то как?

– Да пустяки.

Это могло значить и что сырость опять ударила по бронхам. И что какой-нибудь журнал опять задерживает с выплатой и в доме нет денег. И что угодно. Очень значимое слово «пустяки», когда его произносят так. Но пытаться о подробностях бесполезно – не скажет нипо-

чем. Остается либо бессильно гадать до зуда под черепом, либо махнуть рукой, дескать, все равно сейчас ничем помочь не могу. Но так вот раз махнешь, два махнешь, три махнешь – и близкий человек становится чужим. А раз погадаешь, два погадаешь, три погадаешь – и сбрендишь. Широкий выбор.

– Стасик, я как только вернусь – сразу позвоню.

– Звони.

– Знаешь, ужасно хотелось забежать прямо посреди ночи...

– Ну и забежал бы.

Я глотнул воздуха.

– Стасик, но ты так ушла в порту...

– Обычно ушла, ногами. Саша, тебе, наверное, уже пора. – Она словно разглядела со своего Каменноостровского, что Круус опять отследил время и, тактично не глядя в мою сторону, сделал знак сыскарям; те поднялись, Климов набросил на плечо ремень яркой молодежной сумки с нарисованными на раздутом боку пальмами и девицами в купальниках, Григорович, прядая плечами, поудобнее упокоил на спине старомодный рюкзак. Конспираторы.

Я и не знал, что сказать. От беспомощности слезы наворачивались.

– Береги себя, Сашенька, умоляю, – глухо сказала Стася и повесила трубку.

Глава 3 Тюратам

1

Жара.

Зыбко трепещет горизонт. Степь еще не сожжена, еще не стала мертвенно-коричневой и пыльной, но уже тронута жесткой желтизной. Раскалено бледно-голубое предвечернее небо; ни облачка на нем, лишь темная крапинка ястреба перетекает через зенит.

От Каспия сюда, отсюда к Алтаю, через Алтай в Монголию и дальше, дальше, обрываясь лишь вместе с материком, тянется этот изумительный, не знающий себе равных, раскатанный и утрамбованный тысячелетним солнечным половодьем травяной океан.

Великая степь. Грандиозный котел, кипевший двадцать веков. Сколько раз он выплескивал обжигающие оседлый мир волны! Великая культура; не столько, быть может, по конечным достижениям своим – хотя нам ли, забившимся в тяжелые утесы неподвижных домов, судить об этом, – сколько по своеобразию и по длительности этого своеобразия.

Едет гуннов царь Аттила...

Где-то здесь – ну, может, немного южнее – прошли когда-то те, кто, поначалу залив половину Руси кровью, затем выдержав волну ответной экспансии, давно стал с этой Русью как бы двумя сторонами одной медали; драгоценной медали, которой скупая на призы история награждает тех, кто сумел выжить и сжиться.

Священная земля.

Словно бы в задумчивости отойдя подальше от остальных и улучив момент, когда на меня не смотрели, я опустил на колени и быстро поцеловал эту сухую и крепкую, как дерево, землю. Поднялся. От ангаров уже шарил, подпрыгивая на невидимых отсюда неровностях, открытый джип; уже виден был начальник тюратамского гэ-бэ полковник Болсохоев, стоявший в кабине рядом с шофером и отчетливо подпрыгивающий вместе с джипом. Одной рукой он вцепился в ветровое стекло, другой придерживал за козырек фуражку. Я медленно пошел ему навстречу. Джип подлетел и, передернувшись всем телом, остановился как вкопанный; Болсохоев, с заранее протянутой рукою, соскочил на землю. Мы обменялись рукопожатием.

– Здравствуйте, Яхонт Алдабергенович.

– Здравствуйте, Александр Львович, с прибытием. – Он тронул фуражку, до этого, видимо, нахлобученную слишком туго, чтобы не сдуло. – Да, Ибрай вас очень точно посадил. С этого самого места взлетал «Цесаревич». До ангаров триста двадцать метров. Тягач, который выкатил гравилет со стоянки на поле, вел Усман Джумбаев. И по его собственным словам, и по всем свидетельствам – к аппарату он не подходил. Привел тягач из гаража – вон там наши гаражи, слева, – не выходя из кабины дождался, когда зацепят; вывел на поле, дождался, когда отцепят, опять-таки не выходя из кабины, и вместе с техником Кисленко вернулся в гараж.

За разговором мы незаметно подошли к авиетке, доставившей нас из Верного. Я представил Болсохоеву своих людей, притаившихся от солнца в тени небольшого, наполовину остекленного корпуса.

– Я еще нужен, Яхонт Алдабергенович? – спросил молодой пилот, высунувшись из кабины.

Болсохоев вопросительно посмотрел на меня. Я жестом отпасовал вопрос обратно к нему.

– Тюратам – вот он, три версты, – сказал Болсохоев, махнув рукой в сторону раскинувшегося по северному горизонту, плавающего в мареве массива белоснежных многоквартирных домов. – Там, – полковник ткнул на юго-запад, – стартовые столы, это подальше, верст семнадцать. Но, как я понимаю, нам туда не нужно?

– Пока не нужно.

– Тогда лети, голубчик, – сказал Болсохоев пилоту.

Тот кивнул, повел ладонью прощально и втянул голову в кабину. Параболические приемники на гребне авиетки шевельнулись, оживая, уставились в одну точку, и авиетка беззвучно взмыла вверх. Все стремительнее... вот слепяще моргнул отсвет солнца, отраженный каким-то из стекол кабины, вот уже стала темной крапункой, как ястреб, – и пропала.

– Рассказывайте дальше, Яхонт Алдабергенович, – попросил я.

– Степа Черевичный все утро возился в соседнем к «Цесаревичу» гнезде, – кивнув, продолжил Болсохоев. – Один наш поисковик, «Яблоко», третьего дня вернулся с капремонта, а Степа такой придира... Сенсор какой-то плохо реагировал, западал контакт, что ли, и он перебирал схему. До «Цесаревича» ему было шаг шагнуть. Но в ангаре же всегда народ. Другие техники и вдобавок охранник, выставленный у «Цесаревича» после техосмотра, божатся, что Черевичный из моторного отсека «Яблока» не вылезал. После отлета наследника он там еще часа четыре возился, даже на обед опоздал. Наконец, сам охранник, Вардван Нуриев. Девять лет беспорочной службы. В показаниях свидетелей – мельком видевших его техников, рабочих, ходивших туда-сюда, есть, конечно, дырки в минуту-две, но в целом все сходятся на том, что вплотную он к гравилету не подходил. И потом: за полчаса до того, как заступить на пост, он пришел на службу, через проходную пришел, с совершенно пустыми руками.

– Взрывное устройство мог ему передать, например, хоть тот же Черевичный. Оно могло быть заранее припрятано, скажем, где-то в «Яблоке». Достаточно полминуты...

– Да, так тоже могло быть. Версий много, но наиболее вероятным представляется иное. Однако, если позволите, Александр Львович, сначала у меня к вам вопрос.

– Ради бога, Яхонт Алдабергенович, ради бога.

– Факт минирования «Цесаревича» абсолютно доказан? – Болсохоев голосом подчеркнул слово «абсолютно». – Не получится так, что мы понапрасну...

– А почему вы спросили, Яхонт Алдабергенович? У вас есть какие-то сомнения?

– Да как сказать... – смущенно пробормотал полковник и вдруг, решившись, выпалил: – Не то что сомнения, а просто в голове не укладывается!

Круус понимающе поджал губы и отвел взгляд, сокрушенно кивая. Климов хмыкнул, терзая желтыми зубами дешевую папиросину зловещего вида. Григорович, прикрываясь от солнца ладонью, следил за ястребом, вязнущим в блеклой синеве.

– Вот мы с вами говорим сейчас, будто о чем-то довольно заурядном, дело как дело... а чувствую я себя как в бреду, как в сне кошмарном! Вот так вот за здорово живешь грохнуть семь человек – и мало того, Александра Петровича! Его же все любили тут... Может, просто все-таки несчастный случай?

– Увы, Яхонт Алдабергенович, – ответил я. – Формально еще не доказано, но физики уверяют, что мотор никак не мог дать взрыва. Я утром в Краматорск специально звонил, говорил с тремя инженерами гравимоторного завода – нет. Все, как один: нет. Ну а что до факта – мои люди спозаранку вылетели в Лодейное Поле, чтобы тщательно осмотреть собранные фрагменты корабля. От вас попробуем позвонить туда – может, что-то уже установили.

Болсохоев помолчал.

– Ну, тогда в машину, что ли? – сказал он угрюмо. – Едем к ангарам?

Не торопясь, мы двинулись к джипу. Первым сообразил Климов:

– Не поместимся.

– Да, действительно. – Болсохоев даже сбился с шага. – Простите... я одного вас ждал, Александр Львович. Что-то мне не так передали.

– Идемте пешком все вместе, – предложил я. – Как раз по дороге успеете окончательно обрисовать ситуацию.

Болсохоев с готовностью кивнул и сделал ждавшему в джипе шоферу освобождающий жест рукой. Джип, тихонько урчавший на холостом ходу, начальственно рывкнул и прыгнул с места, круто развернулся, кренясь и пружинисто подскакивая, и понесся к гаражам.

– Подозрения прежде всего падают на Игоря Фомича Кисленко только лишь потому, что он, в отличие от перечисленных мною троих, исчез бесследно сразу после отлета «Цесаревича», – заговорил Болсохоев. – С другой стороны, он дважды на протяжении последних минут перед взлетом оставался с аппаратом практически наедине – ни из аппарата, ни из тягача его не было видно. В ангаре он один зацепил за носовые крючья два буксировочных троса; тут его, правда, мог видеть охранник. Охранник за этой операцией в действительности не следил, но Кисленко этого знать не мог. Проходивший мимо механик Гушин видел мельком, как Кисленко возится со вторым тросом, но ничего подозрительного в его действиях не заметил, мы беседовали с Гушиным очень тщательно. И наконец, самый вероятный момент – отцепление тросов. Это две-три минуты, и вокруг – никого. Магнитную, например, мину прищепнуть где-нибудь у кормы – секундное дело, если знать, где ей не угрожает быть сорванной воздушным потоком. Кисленко, опытный технар, такое укромное место, безусловно, мог придумать.

Действительно, было во всем этом что-то от кошмарного сна. В разговоре то и дело мелькало: опытный технар, беспорочная служба, проверенный человек, надежный работник... И ведь иначе и быть не могло – Тюратам! А в то же время семь ни в чем не повинных людей погибли страшной смертью.

А каково сейчас великой княгине Анастасии? Красавица, умница, настоящий друг; мне довелось танцевать с нею на последнем рождественском балу – как она ловила взгляд мужа!

Каково было бы Лизе или Стасе, если бы меня...

А мне, если бы ее или ее?

До чего же незащитно человеческое тело! Даже лаская, можно ненароком сделать больно; что уж говорить о намеренном вреде. Как эта божественная капелька нуждается в опеке, в заботе; сколько ослепительно прекрасных чувств и поступков висит на волоске, в полном рабстве у тонюсенькой кожицы, у ничтожных грязных бляшек на стенках сосудов, у какой-то там синовиальной жидкости, у потайной капли гормонов – беречь, беречь друг друга, помогать и прощать, пестовать, как больных, ведь все мы больны этой плотью, хрупкой, как раковина улитки, и жадной до жизни, как жаден до солнца зеленый лист. Иначе просто не выжить!

– А что, собственно, значит – исчез? – спросил я.

– Исчез – это исчез, и все тут, – вздохнул Болсохоев. – Вскоре после отлета пошел домой обедать – он живет тут относительно неподалеку, на ближней окраине Тюратама: от остановки автобуса, который ходит между аэропортом и городом, ему ходу минуты три, поэтому и обедал он обычно не в столовой, а дома... И тут – сообщение получаем из столицы. Ну, пока раскрылись – еще час прошел, не меньше. Туда, сюда – нет Кисленко. Все под рукой, а его, как у вас в России говорят, будто корова языком слизнула. С работы ушел, домой не пришел. Мы на вокзал, на автовокзал, в пассажирский аэропорт, всем кассирам, всем постовым суем фотографию – нет, не помнят. Конечно, это не гарантия – мог проскочить, и его не запомнили, или на попутках удрал, да мало ли... Но – странно все же. И ведь какая тут еще несурезица – он, как обыск показал, перед тем как из дому на работу идти в то утро, все документы уничтожил.

– Как это? – опешил я.

– Водительские права сжег – корочки обгоревший кусок нашли в пепельнице, и все. Над паспортом куражился, будто озверел – рвал по странице и жег, орла изрезал ножиком и тоже

подпалить хотел, но обложка обуглилась только, жесткая... В той же пепельнице еще зола, уж не поймешь от чего.

– Как же он на работу попал?

– Пропуск, значит, сохранил.

– А вы этот пропуск по городу поискать не пытались? В мусоре, в урнах... и просто так, на тротуаре каком-нибудь, на лестнице?

– Признаться, нет.

– Если быть логичным, он сразу после дела должен был избавиться и от последнего из столь ненавистных ему документов. Скажем, прямо в автобусе швырнул под сиденье и еще каблуком потоптал... или в канаву на обочине. Нет, пожалуй, не найти, если в канаву. А в автобусе – пожалуй, найти, Яхонт Алдабергенович! И в урне найти!

Он с сомнением покачал головой. Зато Круус удовлетворенно засопел, закивал.

– А в больницах вы искали его?

– А как же! Все три стационара, все травмопункты, профилакторий... даже в моргах смотрели. Нету. И происшествий никаких не было – ни драки, ни наезда, ни убийства, ни несчастного случая. То, что после дела его кто-то ликвидировал, мы сразу подумали. Нигде ничего.

– Да, понимаю. Но... я имел в виду кое-что иное. Психиатрическая есть в Тюратаме?

Болсохоев удивленно покосился на меня:

– Нет.

– А пункты неотложной наркологической помощи?

– Как же не быть, семь штук. Нет-нет да и попадется пьяненький... да и «дурь» просачивается иногда из Центральной Азии. Думаете, техник первого ранга Кисленко, пустив на воздух наследника российского престола, так напоролся на радости в ближайшей подворотне, что даже до дому не дошел и вот уж сутки прочухаться не может?

– Не совсем так. Но вот что мне покоя не дает: преступление, которое выглядит немотивированным, совсем не обязательно должно иметь неизвестный нам мотив. Оно и на самом деле может оказаться немотивированным.

За спиной у меня опять раздалось удовлетворенное сопение Крууса. Болсохоев обескураженно провел ладонью по лицу.

– Упустил, – признался он. – Не пришло в голову. А ведь верно: Асланов, последним видевший Кисленко накануне, обмолвился, что тот был как бы не в себе!

– Вот видите. Надо будет очень тщательно поговорить со всеми, кто его видел в последние сутки перед катастрофой. И с его домашними. Есть у него домашние?

– Жена и мальчишек двое.

– Значит, и с женой. Теперь вот что. – До ангаров оставалось совсем немного, и я хотел покончить с этим щекотливым для меня вопросом, пока вокруг минимум людей. – Мне сказали, что Кисленко – коммунист.

– Да.

– Давно?

– Двенадцать лет.

– Кто принимал у него обеты?

– Алтансэс Эркинбекова. – Голос Болсохоева приобрел уважительный, едва ли не благоговейный оттенок.

– Здесь, в Тюратаме?

– Да.

– Нам с нею нужно будет поговорить.

– Это невозможно, Александр Львович. Три года назад она умерла. – Болсохоев испытующе покосился на меня, видимо размышляя, как я сообразил секундами позже, не сочту ли

я то, что он собирался сказать, за неуклюжую попытку подольститься к столичной штучке – ему, конечно, сообщили уже, что эмиссар центра по вероисповеданию является товарищем подозреваемого, – а потом решительно закончил: – Хоронили всем городом, как святую.

– В таком случае нужно будет поговорить с нынешним настоятелем Тюратамской звезды, – невозмутимо сказал я.

Разговор прервался. Последние три десятка метров мы прошли молча; распаренный северянин Круус, не в силах долее сдерживаться, то и дело вытирал лицо просторным, чуть надутым платком. Открыв перед нами дверь административного флигеля, Болсохоев, пряча глаза, пробормотал невнятно:

– И все-таки, знаете... Кисленко был непьющий.

2

В кабинете начальника охраны аэродрома, где мы временно обосновались, было сравнительно прохладно; шелестел и поматывал прозрачно мельтешащей головой вентилятор. Крууса в сопровождении одного из местных работников, молодого ротмистра-казаха, явно счастливого тем, что ему выпало участвовать в расследовании столь поразительного злодеяния, я отправил по наркопунктам; Григоровича – домой к Кисленко, наказав осмотреть все доскональнейше не просто так, а именно на предмет поиска других следов аномального, алогичного поведения подозреваемого – уж очень меня насторожили эти горелые документы; Климову велел осмотреть рабочее место Кисленко в поисках любого тайника либо следов изготовления мины. Трое ребят Болсохоева двинулись, бедняги, за пропуском – нудная и малоперспективная работа, но пренебрегать нельзя было ничем. Кабинет опустел – остались сам Болсохоев да я. Он, отдуваясь, чуть вопросительно покосился на меня и расстегнул китель, потом – верхнюю пуговицу рубашки. Уселся напротив вентилятора, сокрушенно покачивая головой от всех этих дел, и на какой-то миг показался мне удивительно похожим на вентилятор – такое же круглое, плоское, понурое и доброе лицо. Только от вентилятора веяло свежестью, а от Болсохоева – жаром. Я вытер потный лоб тыльной стороной ладони, присел на край стола возле телефонов, положил руку на трубку.

– Вот еще что я хотел спросить вас, Яхонт Алдабергенович.

– Слушаю вас, Александр Львович.

– Собственно, если бы что-то было, вы бы мне и сами сказали... но все же. Не было ли каких-то попыток помешать работе на столах или... каких-то покушений на занятых в «Арес» специалистов...

– Конечно, сказал бы, – ответил Болсохоев. – Это – буквально первое, что и мне пришло в голову. А раз первое – значит, неверное, так весь мой опыт показывает. Ничегошеньки, Александр Львович. Чисто. Если бы было, я бы знал... и все равно сразу поговорил на эту тему и с начальником охраны космодрома, и с молодцами, отвечающими за безопасность ведущих специалистов. Ничего. Ни шантажа, ни подметных писем, ни покушений, ни диверсий. Это не «Арес».

– Откровенно говоря, я тоже так думаю, – проговорил я и поднял трубку. Набрал на клавиатуре код Лодейного Поля, потом номер телефона, потом сразу – код, включающий экранировку линии. Посредине клавиатуры зажглась зеленая лампочка, и в трубке тоненько, чуть прерывисто засвистело – значит, разговор пошел через шифратор и подслушивание исключено.

Повезло. Подошел сразу Сережа Стачинский из группы «Аз».

– Это Трубецкой. Что у вас, Сережа? Осмотрелись?

– Так точно, Александр Львович. Все правильно, никаких сомнений. Диверсия.

Так. Я на секунду прикрыл глаза. Ну, собственно, никто и не сомневался. И все-таки прав Болсохоев – не укладывается в голове. Раздвоение личности: уже семнадцать часов зани-

маюсь преступлением, а в глубине души до сих пор не могу поверить, что это действительно преступление, а не несчастный случай.

– Вы уверены? – все-таки вырвалось у меня.

Стачинский помедлил.

– Господин полковник, ну не мучайте себя, – проговорил он мягко. – Сомнений нет.

– Какая мина? Чья? Удалось установить? – Я забросал его вопросами, и тон, кажется, был немного резковатым – но мне очень не хотелось выглядеть раскисшим.

– Фрагменты, конечно, в ужасном состоянии, – ответил Стачинский. – Мы перевезем их в Петербург и все осмотрим еще раз в лаборатории. Но предварительное заключение такое: мина-самоделка, кустарного производства. Патрон с жидким кислородом, плюс кислотный взрыватель, плюс магнит, плюс обтекатель. Все гениальное просто. Такой пакостью нас всех можно извести, ежели поставить это дело на поток. Нашлепнута была под левым параболоидом тяги – параболоид сбрило в долю секунды, гравилет сразу закрутило вдоль продольной оси... В общем, вот так.

– Понятно, – сказал я. Голос чуть сел, я кашлянул осторожно.

– Что? – не понял Стачинский.

– Ничего, Сережа, это я кашляю. Горло перехватило от таких новостей. Когда вы в Петербург намерены двигаться?

– Часа через три. Я только что закончил осмотр. Сейчас начинаем паковаться – уложимся и вылетаем сразу.

– Вы уж там... осмотрите корабль перед вылетом.

– Тьфу-тьфу-тьфу. Правда, собственной тени пугаться начнешь. Адово душегубство какое-то.

– Еще вопрос, Сереженька. Сколько времени нужно, чтобы укрепить такой гостинец на обшивке?

Стачинский хмыкнул.

– Две с половиной секунды. Секунда, чтобы запустить руку за пазуху или в висящую на плече сумку, секунда, чтобы вынуть, и полсекунды, чтобы, поднявшись на цыпочки, сделать «шлеп!».

– Понял, – опять сказал я. – Ладно... Как там погода?

– Спасибо, что хоть не льет. А у вас?

– А у нас – льет с нас, – ответил я. – Ну, счастливо. Если в лаборатории что-то выяснится дополнительно – звони. Я пока обратно не собираюсь.

Повесил трубку и поднял глаза на смиренно ждущего Болсохоева – тот жмурился, подставляя лицо вентилятору; волосы его, черные и жесткие, ершились и танцевали в потоке воздуха.

– Ну вот, – сказал я. – Взрывное устройство, которое мог бы собрать и ребенок. Хорошо, что у нас так редки дети с подобными наклонностями. Кислородный патрон и кислотная капсула.

Болсохоев открыл глаза и опять удрученно покивал. Потом вдруг встрепенулся, чуть косолапя – видно, ногу отсидел – подбежал к телефону и сдернул трубку. Я отодвинулся, чтобы не мешать. Болсохоев набрал какой-то короткий номер и, дождавшись, когда там поднимут трубку, темпераментно заговорил по-казахски. Я отодвинулся еще дальше; тут уж я, черт бы меня побрал, не мог сказать даже «дидад гмадлобт». Отвратительное ощущение – безъязыкость, сразу чувствуешь себя посторонним и ничтожным. Болсохоев делал виноватые глаза, а улучив момент, прикрыл микрофон рукою и шепотом сказал:

– Извините, Александр Львович. Сегодняшний дежурный по складу не понимает по-русски.

– Оставьте, Яхонт Алдабергенович. Это не он не понимает по-русски, а я не понимаю по-казахски. К сожалению. Я к вам прилетел.

Болсохоев чуть улыбнулся, уже слушая, что ему говорят оттуда. Потом что-то сказал, кивнув, и повесил трубку. Помолчал. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга.

– Не далее как позавчера Кисленко получал на складе жидкий кислород. Восемнадцать патронов. На вчерашний день планировался длительный сверхвысотный полет экологического зонда «Озон», это для него.

– Надо проследить судьбу каждого патрона, – сказал я. – Не мог ли кто-то, кроме...

– Проследим, – ответил Болсохоев. Помедлил. – Да он это, он, Александр Львович.

– И выяснить, кто дал Кисленко приказ на получение кислорода и когда. – Я снова потер лоб. – Ох, вижу, что он... Давайте свидетелей, Яхонт Алдабергенович. И первым – того, кто видел, что Кисленко «как бы не в себе».

Наладчик Асланов показал, что позавчера, то есть в день накануне катастрофы, он встретил Кисленко у проходной. Видимо, тот возвращался из дома после обеда. Он стоял у внутреннего выхода, уже на территории аэродрома, и разглядывал собственный пропуск, очевидно, только что предъявленный им охраннику. Асланов пошутил еще – дескать, себя на фотографии узнавать перестал, стареешь-толстеешь? Кисленко поднял на него глаза, и они были какие-то странные, погасшие и тупо-недоуменные, словно техник и Асланова, старого своего приятеля и неизменного партнера по домино и нардам, не узнал, вернее, не сразу узнал, а с трудом вспомнил. Асланова поразило лицо Кисленко – оно было усталым и то ли ожесточенным, то ли горестным. «Я было подумал, у него по меньшей мере жена при смерти», – сказал Асланов. Впрочем, это выражение мгновенно пропало, Кисленко овладел собой. Он как-то невнятно отшутился – Асланов даже не запомнил, как именно, – но произнес непонятную, запомнившуюся фразу: «С ума все походили, что ли...» Асланов, слегка обидевшись, попросил уточнить, но Кисленко, видимо, уже окончательно очнувшись, засмеялся, хлопнул его по плечу и сказал: «Это я о своем». Потом пошел к ангарам. Отзыв о Кисленко в целом – самый положительный: отличный товарищ, прекрасный работник, настоящий коммунист.

Электротехник Чониа показал, что вечером того же дня застал Кисленко в мастерской, тот что-то вытачивал на токарном станке. Кроме него, в помещении никого уже не было. Чониа, зашедшему в мастерскую случайно, в поисках потерянной записной книжки – он нашел ее позже совсем в другом месте, в столовой, – показалось, что Кисленко был смущен и обеспокоен встречей. Чониа ни о чем его не спрашивал, но Кисленко сам пустился в объяснения: дескать, варганит сынишке подарок ко дню рождения... Между прочим, у сыновей Кисленко дни рождения в ноябре и в марте. Но в ходе разговора Чониа об этом не вспомнил – он был озабочен потерей и быстро ушел. Отзыв о Кисленко в целом – самый положительный: такого справедливого, отзывчивого, всегда готового помочь человека редко встретишь.

Сразу трое свидетелей показали, что в утро перед катастрофой Кисленко выглядел сильно возбужденным. Но значения этому не придали тогда – все были в приподнятом настроении, зная, что предстоит встреча с великим князем, человеком, которого, как я лишний раз убедился, все здесь глубоко уважали. Зато, вернувшись с поля на тягаче, Кисленко преобразился – из него будто пружину какую-то вынули, он оглядывался, как бы не очень хорошо понимая, где он и что здесь делает. Вздрагивал от малейшего шума; когда к нему неожиданно обратились сзади, вскрикнул. Впрочем, он почти сразу ушел. Обедать, так решили все. Отзывы о Кисленко – самые положительные.

В обогатитель регенерационной системы готового к полету «Озона» были установлены все восемнадцать патронов. Запуск был сорван лишь начавшейся в связи с гибелью «Цесаревича» суматохой. Элементарная проверка показала, что один из установленных патронов – пустой, уже отработанный. Устанавливал патроны Кисленко. Накладную на получение кислорода подписал начальник метеослужбы космодрома Сапгир. Полеты такого профиля были довольно обычной практикой: метеорологи тщательно следили за состоянием атмосферы на

различных высотах над Тюратамом, пытаясь однозначно выяснить, влияют на нее губительным образом или все-таки нет запуски больших кораблей.

Около восьми вечера мы с Болсохоевым позволили себе прерваться и выпить по стакану кофе с бутербродами. Но не успел я и первого глотка спокойно проглотить, как посыпались очередные новости.

Вернулись ребята Болсохоева и гордо протянули Яхонту Алдабергеновичу пропуск Кисленко. Они нашли его в одном из рейсовых автобусов, ходивших от аэродрома к городу и обратно; нашли бы и раньше, но, как на грех, как раз сегодня этот автобус не вышел на линию, что-то там было не в порядке с коробкой передач. Пропуск валялся на полу под одним из сидений, полуприкрытый отставшей от металлического днища резиновой подстилкой. Он был совершенно цел; очевидно, Кисленко над ним уже не упражнялся. Прихлебывая кофе, я со скорбным удивлением рассматривал лицо на фотографии – обычное лицо славного человека средних лет, испуганно-напряженное, как это всегда бывает на фото в служебных документах, с близорукими морщинками у глаз, с небольшой родинкой на левой щеке, с мягкими губами; под левый параболоид этот человек поставил мину. Не понимаю, думал я, не понимаю. «С ума все походили, что ли...» Не понимаю. И тут явился Григорович – ничего не нашедший Климов пришел еще раньше и тихо стушевался в углу, у открытого окна, тет-а-тет со своими жуткими папиросами. Григорович тоже ничего не нашел – никаких иных странностей, кроме обгоревших корочек документов. И жена Кисленко, уже не на шутку встревоженная исчезновением мужа и нашей активностью, ничего интересного не смогла для него припомнить. Правда, в ночь перед катастрофой Кисленко почти не ложился; она оставила его в кабинете, с непонятной пристальностью изучавшего позаимствованный у старшего сына школьный учебник «История России в новое время» – почитает с каким-то изумлением, поднимет глаза, шевеля губами, потом опять почитает. Но разве это предосудительно?

А в целом он был как всегда. Очень усталый только. Очень. Опустошенный какой-то. Но она решила, что просто было много работы в связи с отлетом наследника, и ничего спрашивать не стала.

Одну странную фразу он сказал ей, и от этой фразы теперь, задним числом, можно было белугой завить. Уже уходя поутру на работу в день катастрофы, чмокнув жену в щеку, он улыбнулся как-то необычно жестко и проговорил: «Ну ладно. Иду отдуваться за вас за всех, чистоплюев блаженненьких. Жаль, до самого мне уж не дотянуться». Она спросила, что он имеет в виду, – а он не ответил.

Я снова нацелился было на свой бутерброд, и позвонил телефон. Болсохоев снял трубку, алекнул, послушал и протянул трубку мне.

– Круус, – сказал он.

– Трубецкой, – произнес я в трубку.

– Мы нашли его. – От явного волнения Круус сильнее обычного растягивал свои каучуковые эстляндские гласные. – Приезжайте, это пятый пункт неотложной наркологии. Кисленко очень плох. И хуже всего то, что я не понимаю, что с ним.

3

Кисленко нашли около двух часов дня на улице, неподалеку от остановки автобуса аэродром – город, но не той, на которой он обычно выходил, а двумя позднее; похоже, свою он просто-напросто проехал. Видимо, уже в автобусе ему стало худо, он начал терять разумение, но еще выбрался как-то, добрел до укромной, притаившейся на бережку арыка, в тени карагачей, скамейки и тут окончательно потерял сознание. В какое время это было – точно сказать невозможно; Тюратам – город рабочий, днем на улице редко кого встретишь. Набрели на Кисленко два гимназиста, шедшие домой после занятий. Кликнули городского. Вот картина: завалив-

питься на бок, сидит на лавочке человек, изо рта – струйка слюны, припахивает спиртным, брюки мокрые, моча. Конечно, городской решил, что человек пьян до утери человеческого облика. Вызвал «хмелеуборщиков». Те, хоть случай и редкий, особенно рефлексировать не стали: привезли на пункт, сделали промывание желудка, укол и оставили просыпаться. Во время перевозки Кисленко бормотал что-то, как бы бредил, но кто же прислушивается в таких случаях? Правда, один санитар, из молодых, видно, ему все это еще в диковинку казалось, зафиксировал на редкость, с его точки зрения, нелепую фразу – нелепостью своей она в память и врезалась. Неразборчиво пробубнив что-то насчет, как он непонятно выразился, «демогадов», Кисленко вдруг очень ясно сказал: «Народу жрать нечего, а вам тут обычных начальников мало, еще и царей опять развели...» Двое других подтвердить показания молодого коллеги не взялись, но один неуверенно покивал: да, про царя что-то было, но что именно – не отложилось.

Лишь утром врачи забеспокоились всерьез – Кисленко не приходил в себя; уже он явно не спал, а был без сознания и по временам дико вскрикивал. Взяли анализы. Следов употребления наркотиков не обнаружили, следы алкоголя – в минимальном количестве. Столь гомеопатическая доза никак не могла вызвать подобный эффект. Наверное, так я подумал, Кисленко просто хлебнул граммов полста спирта для храбрости перед самым делом или сразу после него, чтобы расслабиться. Не более. Но расслабиться у него не получилось.

Его пытались привести в себя. От средств самых элементарных, вроде нашатыря, до сложных комплексных уколов – все перепробовали, и все тщетно. Пытались установить личность, но документов никаких не обнаружили, а когда, постепенно начав соображать, что случай очень уж нетривиальный, затеребили городское полицейское управление, тут уже и Круус приехал.

– Для очистки совести я повторил все анализы, – рассказывал Круус, а я вглядывался в запрокинутое, иссохшее, уже покрытое седоватой щетиной лицо Кисленко на подушке. Оно было так не похоже на фотографию в пропуске... словно техник прошел через какую-то катастрофу, через жуткую, средневековую войну, где сдирают кожу с живых, где младенцев швыряют в пламя. Время от времени губы его беззвучно шевелились. Свет настольной лампы, стоявшей на стандартной больничной тумбочке у изголовья, вырубал из лица резкие черные тени, они казались пробоинами. – Ничего, чисто. Никаких следов психотомиметиков, галлюциногенов, препаратов, усиливающих внушаемость... вообще никаких препаратов, кроме тех, что ему вводили здесь. Памятуя вашу имплицитно высказанную гипотезу, я пытался разблокировать ему память. – Губы Крууса слегка задрожали. Засунув руку куда-то глубоко под явно с чужого плеча белый халат и повозившись на груди, он извлек свой просторный носовой платок и вытер лицо. Мельком я отследил, что платок уже выдохся. Пахло медикаментами, пахло влажным кафельным полом, пахло мучающимся на постели человеческим телом – но духами не пахло. – И тут, Александр Львович, я едва не оказался на соседней койке надолго.

– Что такое?

Круус упихал платок обратно.

– Он пришел в себя. Он открыл глаза, он сел в постели. Помню, я еще успел обрадоваться – мол, все идет хорошо, сейчас начнем разбираться... И тут он закричал: «Нет! Не хочу! Он ведь живой! Он мне улыбается!» Признаюсь вам, такой муки, такого отчаяния я не наблюдал никогда в жизни. Он попытался соскочить с постели. Его с трудом удерживали двое санитаров. Тогда он стал кричать: «Убейте меня!» И я, отчасти от испуга, а отчасти желая хоть как-то успокоить его, притупить его очевидные, хотя совершенно непонятные мне страдания, поспешил погрузить его в сон. Успокоительный, релаксационный сон.

– Его крики вы как-то фиксировали?

– Все на диктофоне. И еще там – фраза, которая, без сомнения, пополнит и украсит ваш список странных фраз, произнесенных Кисленко за последние сутки. Заснул он мгновенно, но сначала спал беспокойно, метался и словно бы боролся с кем-то. И вдруг внятно рявкнул:

«Да что ж ты женщину-то!.. Омон хуев, кого защищаешь? Они, Иуды, Россию продают, а вы тут с дубинами!» Потом беззвучно еще что-то пробормотал – я пытался читать по губам, но смысла не уловил, – и вдруг тихонько так, беспомощно: «Флаг, флаг выше... пусть видят наш, красный...» И уже потом – все. У меня даже зубы скрипнули. «Тихонько», «беспомощно» – что же происходит? Бедный, бедный человек!

Как это сказал Ираклий? «Найди их и убей». Вот нашел.

– Омон, – медленно повторил я незнакомое слово.

– Что значит это слово, я не знаю, – сразу сказал Круус.

Черт боднул меня в бок.

– А что значит следующее за ним, знаете?

Круус с достоинством поджал губы.

– Пф! Али я не россиянин? – спросил он со старательным волжским поокиванием.

– Ну, хорошо, хорошо, Вольдемар Ольгердович, извините. Вы уверены, что правильно расслышали?

– Кисленко отчетливо окает, сильнее, чем я сейчас изобразил. Сомнений быть не может. Два «о» и ударение на последнем слоге.

– Может, что-то блатное? Надо будет проконсультироваться у кримфольклористов... Хотя откуда технику Кисленко знать?..

– Возможно, имя? – предположил, в свою очередь, Круус. – Это было бы очень удачно. Хотя... – как и я, оборвал он себя, – тогда почему дальше идет множественное число: «с дубинами»?

– Как вы насчет перекурить, Вольдемар Ольгердович? – спросил я.

– Охотно. Мне это помещение уже несколько... – Он не подобрал слова и даже не стал напрягаться, чтобы закончить фразу, – и так все было понятно.

– Я тут посижу, – подал голос Болсохоев. В комнате умещалось семь коек, и все они были свободны – за исключением той, на которой страдал в своем непонятном забытии Кисленко. Полковник, сцепив пальцы и сгорбившись, сидел на соседней сиротливо и грустно. – Вдруг он еще что-нибудь скажет.

Мы вышли в коридор. Прошли мимо виновато глядевших медиков – один тут же нырнул в дверь за нашими спинами, Круусу на смену; прошли мимо заплаканной жены Кисленко, когда-то, видимо, красивой, но уже сильно расплывшейся таджички, – Круус, собрав губы трубочкой, чуть покачал головой отрицательно в ответ на ее отчаянный взгляд.

Наркопункт был упрятан в глубине небольшого, но плотного и пышного скверика, и рыжий свет уличных фонарей сюда не долетал. Мы отошли за угол, чтобы не била в глаза резкая лампа над входом, и уселись на скамейку во мраке, под громадными звездами, лезущими с бархатного неба сквозь просветы в узорных листьях чинар.

У Крууса дрожали руки, я дал ему огня. Затлели оранжевые огоньки. Было тихо.

– Гипнотическое программирование? – спросил я.

– Я понимаю, – неторопливо заговорил Круус, – вас, как неспециалиста, все наводит на эту мысль. Действительно, нам известны отдельные случаи, когда преступники, для того чтобы осуществить какие-то короткие акции чужими руками, руками случайных людей, на которых и подозрение-то пасть не может, прибегают к этому изуверскому приему. – Он нервно затянулся, и это движение представляло собою решительный контраст деланому спокойствию речи. – Как это происходит? Вначале человек подвергается форсированному внушению, как правило, с предварительным введением в организм препаратов, облегчающих эту операцию. С едой, с питьем или – аэрозоль... Скажем, гексаметилдекстрализергинбромиды или что-то в этом роде, неважно. Важно то, что их следы можно обнаружить в организме еще недели через две-три после введения – а я их не обнаруживаю. А еще неделю назад никто – это вы мне сами сказали – не знал, что великий князь соберется в Петербург. Дальше. О полученном внушении человек

не помнит и живет себе припеваючи. Но в определенный момент, под воздействием какого-то заранее введенного в программу детонатора – кодового слова, открытки с определенным изображением, появления человека с определенной внешностью, наконец, просто специфического боя часов, был такой случай, – на некоторый промежуток времени человек превращается в робота и совершает ряд некоторых, строго заданных действий. Его способность к их варьированию в зависимости от конкретной ситуации минимальна.

– Вы хотите сказать, что для того, чтобы Кисленко собрал кислородную мину, именно этот тип мины должен был вложить ему в подсознание преступник?

– Совершенно справедливо, – кивнул Круус.

– Значит, преступник должен был заранее знать, что накануне отлета «Цесаревича» Кисленко получит на складе кислород?

– Бесспорно.

– Но решение о запуске пилотируемого зонда «Озон» было принято на несколько дней раньше, чем стало известно об отлете «Цесаревича».

– Вот видите. Опять нестыковка. Но самое главное дальше. Исполнив программу – передав, скажем, пакет кому-либо, установив мину, да, мину, были прецеденты, – «пешка» ничего о своих действиях не помнит и опять живет припеваючи. И даже если доходит дело до допросов, отрицает все с максимальной естественностью. Я ни разу не слышал, чтобы программа конструировалась иначе, для преступников это самый привлекательный вариант. При разблокировании памяти, если оно удается, – мне оно, как правило, удается, – скромно вставил Круус, – «пешка» вспоминает о том, что совершила в бессознательном состоянии, и иногда даже вспоминает саму операцию внушения. Хотя реже, здесь стоят самые мощные блоки... А в данном случае, прошу заметить, все наоборот. Кисленко почти за сутки до преступления выглядит, словно очнулся в незнакомом мире. Но выглядит он вполне осмысленно, просто недоуменно – а «пешка» выглядит, наоборот, туповато, автоматически, но ничему не удивляется. Затем Кисленко быстро адаптируется, вся его память в его распоряжении, и ведет себя не только осмысленно, но и, простите, находчиво – из явно случайно подвернувшихся под руку материалов мастерит взрывное устройство.

– Может, все-таки Сапгир или кто-то из высших начальников администрации аэродрома? – совсем теряя почву под ногами, беспомощно предположил я. – Они ведь знали о планируемом полете «Озона»...

Но не о близком отлете «Цесаревича», тут же одернул я себя. Об этом никто не знал. Великий князь принял решение лететь внезапно – понял, что может позволить себе выкроить пару дней.

– Дальше, – не слыша меня, вещал Круус, – совершив акцию, он, вместо того чтобы забыть о ней и стать нормальным, становится еще более ненормальным. Фактически он находится в шоке, и, вероятнее всего, именно от содеянного. Когда я пытаюсь разблокировать ему память, вместо того чтобы вспомнить преступного себя, он, судя по его дикому крику: «Не хочу! Он живой!» – становится прежним, обычным собой, добрым и славным человеком, который теперь не может жить с таким грузом на совести. Когда я оставляю его в покое, он продолжает бороться непонятно с кем, пребывая в каком-то иллюзорном мире. Что это за мир, по нескольким обрывочным фразам сказать нельзя, но, уверяю вас, в теле Кисленко поселился сейчас кто-то другой. И с прежним Кисленко они ведут борьбу не на жизнь, а на смерть.

– Шизофрения... – пробормотал я. Круус пожал плечами. – А документы? – вспомнил я. – Почему он жег документы?

– Что я могу сказать? – снова пожал плечами психолог. – Надо везти его в Петербург – там, во всеоружии, попробуем разобраться. И надо спешить. Он буквально на глазах сторает.

Из тишины донесся стремительно накатывающий шум авто. Торопливый низовой свет фар лизнул нежную кожу деревьев – зеленоватые днем стволы вымахнули из тьмы мерт-

венно-белыми призраками и спрятались вновь. Отбросив окурок, я встал посмотреть, кто подъехал.

Как я и ожидал, это был Григорович. Отъезжая с аэродрома сюда, я послал его побеседовать о Кисленко с настоятелем здешней звезды коммунистов. Беседа ничего нового не дала. Замечательный человек, честный, щепетильно порядочный, всегда буквально рвущийся помочь и защитить. Мухи не обидит. После смерти Алтансэс Эркинбековой был одним из кандидатов на тюратамского настоятеля. Едва-едва не прошел.

– Да, – сказал я с тяжелым вздохом, – здесь больше делать нечего. Конечно, пощиплем версию с начальниками, но... Доктор, перелет нашему страдальцу не повредит?

Круус долго отлавливал свой платок. Добыл наконец. Вытер губы. Потом лоб.

– Понятия не имею, – ответил он затем.

Глава 4

Снова Петербург

1

Ее я любил совсем иначе. Она была как девочка, наверное, такой и пребудет. И поначалу, долго, я словно бы ребенка баюкал и нежил, а она доверялась и льнула; но в некий миг, как всегда, эта безграничная мужская власть над нежным, упругим, радостным вдруг взламывала шлюзы, и я закипал; а она уже не просто слушалась – жадно подставлялась, ловила с ликующим криком, и я распахивал запредельные глубины и выворачивался наизнанку, тщаьсь отдать этой богоравной пучине всю душу и суть; и действительно на миг умирал...

Спецрейсом мы вылетели ночью и, немного догнав солнце, оказались в Пулковом глубоком вечером. Прямо с аэровокзала я позвонил Стасе – никто не подошел. И теперь, хотя, прежде чем вернулось дыхание, вернулось, опережая его, грызущее беспокойство о ней – не расхворалась ли, где может быть в столь поздний час, исправен ли телефон, – я был счастлив, что поехал на Васильевский.

– Родненький...

– Аушки?

– Ненаглядный...

– Да, я такой.

– Ты соскучился, я чувствую.

– Очень.

– Как мне это нравится.

– И мне.

– Как мне нравится все, что ты со мной делаешь!

– Как мне нравится с тобой это делать!

– Может, ты поесть еще хочешь? Ты же толком не ел весь день!

– Я люблю тебя, Лиза.

– Господи! Как давно ты мне этого не говорил!

– Разве?

– Целых двенадцать дней!

– А ты...

– Я очень-очень крепко тебя люблю. Все сильнее и сильнее. Если так пойдет, годам к пятидесяти я превращусь просто в белобрысую бородавку где-нибудь у тебя под мышкой. Потому что мне от тебя не оторваться.

– Не хочу бородавку. Хочу девочку.

– А как тебя Поленька любит! Ты знаешь, по-моему, уже немножко как мужчину. Ей будет очень трудно, я боюсь, отрешиться от твоего образа, когда придет ее время.

– Когда родители любят друг друга, дети любят родителей.

– Правда. Смотрит на меня – и тебя любит; смотрит на тебя – и меня любит...

– Тебе не тяжело со мною, Лиза?

– Я очень счастлива с тобой. Очень-очень-очень.

Листья на ветру.

Но разве виновны они в том, что не умеют летать сами? Кто дерзнет вылавливать их из ветра и кидать в грязь с криком: «Полет ваш – вранье, вас стихия тащит! То, что вы летите сейчас, совсем не значит, что вы сможете летать всегда...»?

Сквозь занавеси из окон сочилось скупое серое свечение. В столовой за неплотно закрытой дверью мерно тикали часы. Бездонно темнел внизу ковер, дымными призраками стояли зеркала. Дом.

Ее дыхание щекотало мне волосы под мышкой – там, где она собиралась прирасти. Почти уложив ее на себя, я обнимал ее обеими руками, крепко-крепко, почти судорожно – и все равно хотелось еще сильнее, еще ближе.

И, как всегда после любви, я на некоторое время стал против обыкновения болтлив. Хотелось все мысли рассказать ей, все оттенки... хотя бы те, что можно.

– Ты никогда не говорил так подробно о своих делах.

– Потому что это дело не такое, как другие. Ты понимаешь, я все думаю – наверное, это не случайно оказался именно он. Такой справедливый, такой честный, такой готовый помочь любому, кто унижен. Ведь он и в бреду продолжал защищать кого-то, сражаться за какой-то ему одному понятный идеал. Вот в чем дело. Просто идеал этот оказался чудовищно извращен.

– Я не могу себе такого представить.

– Я тоже. Но он, я чувствую, представлял. Это было для него естественным. Словно кто-то чуть-чуть сменил некие акценты в его душе – и сразу же те качества, которые мы привыкли, и правильно привыкли, ставить превыше всего, сделались страшилищами. Знаешь, прежде я думал, что нет у человека качеств совсем плохих или совсем хороших, что очень многое зависит от ситуации. В одной ситуации мягкость полезна, а в другой она вывернется в свою противоположность и превратится в слюняйство и беспомощную покорность, и ситуации эти равно имеют право быть. В одной ситуации жесткость равна жестокости, а в другой именно она и будет настоящей добротой. Прости, я не умею пока сформулировать лучше, мысль плывет... Теперь я подумал, что все не так. Ситуации, где доброта губительна, а спасительна жестокость, не имеют права на существование. Если мир выворачивает гордость в черствость, верность в навязчивость, доверчивость в глупость, помощь в насилие – это проклятый мир.

Она вздохнула:

– Конечно, Сашенька. Ты ломишься в открытую дверь. Доброта без Бога – слюняйство, гордость без Бога – черствость, помощь без Бога – насилие...

Я улыбнулся и погладил ее по голове.

– Саша, неужели ты не чувствуешь, что я права?

– Кисленко и прежде не верил в Бога – и был прекрасным человеком. И потом продолжал не верить ровно так же – и стал бешеным псом.

– Если бы он верил в Бога – он не достался бы бесам.

– Сколько верующих им достается, Лиза! И сколько атеистов – не достается!

В столовой, перебив мирное «тик-тик», закурлыкал телефон.

– Кто это может быть? – испуганно спросила Лиза. – Почти три...

А у меня сердце упало. Хотя Стася никогда не звонила мне домой, и уж давно бы никогда не позвонила ночью, первая сумасшедшая мысль была – с нею что-то стряслось.

Нет, не с нею. Звонил Круус.

– Простите, что беспокою, – сказал он бесцветным от усталости голосом, – но у вас, как я знаю, с утра отчет в министерстве, и я хотел, чтобы вы знали. Кисленко скончался.

– Он еще что-нибудь говорил? – после паузы спросил я.

– Ни слова. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, Вольдемар Ольгердович. Благодарю вас. Ступайте отдыхать.

Я положил трубку.

– Что-нибудь случилось? – очень спокойно спросила из спальни Лиза.

– Еще одно тело не выдержало раздвоения между справедливостью человеческой и справедливостью бесовской, – сказал я.

– Что?

– Лиза... прости. Ты позволишь, в виде исключения... я прямо тут покурю, а?
– Конечно, Сашенька, – мгновенно ответила она. Запнулась. – Только лучше бы ты этого не делал, правда.

Я даже улыбнулся против воли. В этом она была вся. Любимая моя.

– Да, ты права. Не буду.

– Иди лучше ко мне. Я тебя тихонечко облизну.

Я пошел к ней. Она сидела в постели, тянулась мне навстречу; громоздко темнел на нежной, яшмово светящейся в сумраке груди угловатый деревянный крестик.

– Лиза – это та, которая лижется? – спросил я.

– Та самая.

Я сел на краешек, и она сразу обняла меня обеими руками. Тихонько спросила:

– Он умер, да?

– Да.

– Тебе его очень жалко?

Хлоп-хлоп-хлоп.

– Очень.

– Он же убийца, Саша.

– Он попал в какие-то страшные жернова. Я жизнь положу, чтобы узнать, что его так исковеркало.

– Жизнь не клади, – попросила она. – Ты же меня убьешь.

– ... Таким образом, для меня является бесспорным, что мы столкнулись с чрезвычайно оперативным, совершенно новым или, по крайней мере, нигде не зафиксированным прежде способом осуществляемого с преступными целями воздействия на человеческую психику. Я не исключаю того, что с подобными случаями наша, да и мировая практика уже сталкивалась, но не умела их идентифицировать, поскольку, как вы видите, идентификация здесь очень сложна. Объект воздействия не роботизируется. Он полностью осознает себя, он сохраняет все основные черты своего характера – но поведенческая реакция этих черт страшно деформируется. И вдобавок, если судить по случаю с покойным Кисленко, вскоре после осуществления преступного акта объект воздействия умирает от чего-то вроде мозговой горячки, вызванной психологическим шоком. Шок же, в свою очередь, вызывается, насколько можно судить, нарастающими судорожными колебаниями психики между двумя генеральными вариантами поведения. По сути, с момента возникновения этих колебаний человек обречен – оба варианта обусловлены самыми сущностными характеристиками его «я», и в то же время они не только являются взаимоисключающими, но, более того, с позиций каждого из них альтернативный вариант является отвратительным, унижительным, свидетельствует о полной моральной деградации «я», о полном социальном падении.

– Может, это все-таки какая-то болезнь? – спросил Ламсдорф. Понурый, расстроенный, он сидел через стол против меня, подпирая голову руками. Сквозь щели между пальцами смешно и жалко топорщились его знаменитые бакенбарды.

– Специалисты уверяют, что нет, – ответил я.

– Загадочное дело, господа, – произнес с дивана министр. Он сидел в углу, закинув ногу на ногу, и раскуривал трубку. Как и я сутки назад, он прибыл в министерство прямо с аэродрома – из-за катастрофы «Цесаревича» ему пришлось скомкать программу последних дней своего австралийского вояжа, – и он тоже был одет не по протоколу. – Загадочное и жутковатое. Контакты Кисленко вы установили?

– Я оставил людей в Тюратаме, – ответил я. – Вместе с казахскими коллегами они отрабатывают последние недели жизни Кисленко по минутам, можете быть уверены. И в то же время я не очень верю, что это что-то даст.

– Почему? – вздернул брови министр.

– Кисленко жил незамысловато, на виду. Дом – работа, работа – дом... Да еще стол во дворе – домино да нарды. Случайных людей в Тюратаме практически не бывает.

– Но кто-то же его обработал?

Я пожал плечами:

– Кто-то обработал.

– Как вы интерпретируете эту фразу... э-э... – Министр взял сколотые страницы лежащего рядом с ним на диване отчета; покрепче стиснув трубку в углу рта, свободной рукой он вынул из нагрудного кармана очки со сломанными дужками и поднес к глазам: – «Жаль, до самого мне уж не дотянуться»?

– Боюсь, что так же, как и вы, Анатолий Теофилактович, – стараясь говорить бесстрастно, ответил я. – Учитывая, вдобавок ко всему прочему, свидетельствующий о внезапно проявившейся патологической ненависти к царствующему дому и его символике факт глумления над документами, я склонен полагать, что этой фразой Кисленко выражал сожаление о невозможности произвести террористический акт в отношении государя императора.

– Господи, спаси и помилуй! – испуганно пробормотал Ламсдорф и осенил себя крестным знаменем.

– Считаете ли вы, полковник, что нам следует усилить охрану представителей династии?

Я с сомнением покачал головой:

– Ни малейшего следа систематически работающей организации мы не обнаружили.

– Обнаружите, да поздно! – воскликнул Ламсдорф.

– С другой стороны, – ответил сам себе министр, раздумчиво пыхнув трубкой, – какая, к черту, охрана усиленная, ежели самый проверенный человек может так вот рехнуться на ровном месте и выпустить в государя всю обойму...

– Вы, например, – подсказал я.

Он молча воззрился на меня.

– Вы, человек решительный и принципиальный, активно любящий справедливость, при этом горячий патриот своей родимой Курской губернии, – пояснил я, – вдруг заметили, что последнее из одобренных Думой и утвержденных государем повелений как-то ущемляет права курских крестьян. Ну, скажем, очередная ЛЭП пойдет не через Курск, а через Белгород, и в белгородских деревнях электроэнергия окажется на полкопейки дешевле. Ведомый своею принципиальностью, просто-таки кипя от негодования, вы на первом же приеме подходите к государю и, обменявшись с ним рукопожатием, молча пускаете ему разрывную мину в живот.

– Что вы говорите такое, князь! – возмущенно вскинулся Ламсдорф.

– Простите, Иван Вольфович, это не заготовка, я импровизирую. Но это, как мне кажется, очень удачный пример того, что произошло с Кисленко.

– Да, дела, – после паузы сказал министр и, побряхывая, натужно встал. Пошел по кабинету – медленно, чуть переваливаясь. Видно, шибко насиделся в кресле лайнера Канберра – Питер. – Как сажа бела...

Ламсдорф удрученно мотал головой.

Министр некоторое время прохаживался взад-вперед, то и дело пуская трубкой сизые облачка ароматного, медового дыма. Потом остановился передо мною. Я встал.

– Да сидите вы...

Тогда я позволил себе сесть.

– Я-то сидеть не могу уже, право слово... Что вы дальше намерены делать?

– Ну, во-первых, проработка контактов Кисленко; как ни крутите, а это обязательная процедура. Мы об этом уже говорили. Во-вторых, я хочу попробовать задним числом выявить аналогичные преступления, ежели таковые бывали. Статистика – великая наука. Может, удастся

набрести на что-то, даже закономерности какие-то выявить. И в-третьих, есть еще одна придумка... на сладкое.

– Что такое? – спросил министр.

– Мне покоя не дает бред Кисленко. Он ведь чрезвычайно осмыслен и, в сущности, описывает некую вполне конкретную картину. С кем-то он сражается, защищает какую-то женщину... с тем же рвением, с каким вы, Анатолий Феофилактович, ваших курских крестьян.

Ламсдорф листнул лежавший перед ним на столе экземпляр отчета, побежал глазами по строчкам.

– И дальше. Последние слова, которые произнес Кисленко в своей жизни.

– «Флаг, флаг выше. Пусть видят наш, красный», – вслух прочитал Ламсдорф. – Это?

– Да, это.

– Надо полагать, имеется в виду, что флаг красный? – уточнил министр.

– Надо полагать. У вас нет никаких ассоциаций?

– Признаться, нет.

– Я тоже пас, – сказал Ламсдорф. – Хотя это, конечно, зацепка. В справочнике Гагельстрема...

– Стоп-стоп, Иван Вольфович. Дело в том, что красная символика широко использовалась ранними коммунистами в ту пору, когда коммунизм – протокоммунизм, вернее, – пытался в разных странах оспаривать властный контроль у исторически сложившихся административных структур. Это была дичь, конечно, хотя и обусловленная катастрофическими социальными подвижками второй четверти прошлого века... но, если бы это удалось, тут бы коммунизму и конец. Вскоре стало ясно: чем большее насилие пропагандирует учение или движение, тем больше преступного элемента втягивается в число его адептов, необратимо превращая всю конфессию в преступную банду, – ибо, чем более насилие возводится в ранг переустройства мира, тем более удобным средством для корыстного насилия учение или движение становится.

– Я где-то читал эту фразу...

– Еще бы, Иван Вольфович! На юрфаке-то должны были читать! «Что такое «друзья народа» и чем они угрожают народу», Владимир Ульянов. Храмовое имя – Ленин.

– Мне его стиль всегда казался тяжеловатым, – бледно улыбнулся Ламсдорф.

– От «Агни-йоги» тоже голова трещит, – обиделся я.

– К делу, господа, к делу! – нетерпеливо сказал министр.

– Я и говорю о деле, Анатолий Феофилактович. Под красным знаменем, например, героически погибали на баррикадах лионские ткачи в восемьсот тридцать четвертом году – отнюдь не преступники, а простые, справедливые, доведенные до отчаяния нищетою труженики. Были и другие примеры. И вот. Может быть, возможно, не исключено, существует некая вероятность, что сохранилась некая герметическая секта, блюдущая учение коммунизма в первозданной дикости и совершенно уже выродившаяся... ну, что-то вроде ирландских фанатиков, еще в середине нашего века взрывавших на воздух лондонские магазины.

Министр задумчиво попыхивал трубочкой, так и стоя посреди кабинета, уперев одну руку в бок и хмурясь. Зато лицо Ламсдорфа просветлело.

– Как удачно, что государь поручил это дело вам!

– Хотелось бы думать, – проговорил я.

Министр вдруг двинулся вперед и, продолжая хмуриться, подошел ко мне вплотную. Я снова поднялся. Он взял меня за локоть.

– Буде так, могут открыться совершенно чудовищные тайны, – негромко и отрывисто сказал он. – Полковник, вы уверены?.. Вы готовы вести дело дальше – или вам, как коммунисту...

– Более чем готов, – ответил я. – Это дело моей чести.

Еще секунду он пылливо смотрел мне в лицо, потом отошел к дивану и уселся, снова закинув ногу на ногу. Тогда и я сел.

– Что вы намерены предпринять для проработки этой версии? – спросил он.

– Я намерен обратиться за консультацией непосредственно к шестому патриарху коммунистов России, – решительно ответил я.

Снова мои собеседники некоторое время молча переваривали эти слова. Потом Ламсдорф спросил:

– А это удобно?

– Это неизбежно. Если он и не знает ничего об этом – я склонен думать, что не знает, – то, по крайней мере, он лучше всех прочих в состоянии указать мне людей, которые могут что-либо знать. В патриаршестве существует отдел по связям с иностранными епархиями – чтобы его работники начали выдавать мне информацию, мне тоже потребуется поддержка патриарха. Кроме того, есть такая богатейшая вещь, как слухи и предания, – и опять-таки мимо патриарха они не проходят.

– Что ж, разумно, – сказал министр. – Когда вы намерены отбыть в Симбирск?

– Надеюсь успеть нынче же. По крайности – первым утренним рейсом, в шесть сорок. Время дорого. Что-то мне подсказывает, что время дорого.

– Бог в помощь, Александр Львович, – сказал министр и, вынув из кармана «луковицу» часов, глянул на циферблат. Поднялся.

– Благодарю, Анатолий Феофилактович. Теперь у меня к вам тоже вопрос. Мне действовать как представителю МГБ или просто как частному лицу, ищущему беседы члену конфессии?

Министр задумался, похоже – несколько с досадой. Видимо, вопрос ему показался прямым до бестактности – он хотел бы, чтобы я принял удобное для кабинета решение сам.

– Обратитесь лучше как частное лицо, – нехотя проговорил он после долгого, неловкого молчания. – Понимаете... пронюхают газетчики, и пойдет волна – дескать, имперская спецслужба снова вмешивается в дела конфессий. Забурчит Синод, из Думы запросы посыплются. Их же хлебом не корми... Доказывай потом в пятидесятый раз, что ты не верблюд.

– Хорошо, Анатолий Феофилактович, я так и поступлю, – сказал я.

Он резко вмял часы обратно в карман.

– До траурной церемонии осталось сорок минут, а мне еще надобно побриться и переодеться. Иван Вольфович, вы идете?

– Да, разумеется.

– Тогда встречаемся внизу. А вы, Александр Львович?

– Я выражу свои соболезнования погибшим форсированным ведением дела, – проговорил я.

2

Над Заячьим островом утробно рокотали басы прощального салюта. Тоненько дребезжали стекла. Траурная процессия вытянулась от Исаакия по всей набережной и через весь Троицкий мост. Приехала королева Великобритании со старшей дочерью, красивой и скупой на проявления чувств, – ее в свое время прочили в невесты великому князю; приехал кронпринц Германии, не слишком успешно прячущий под холодной маской свою потрясенность трагической гибелью кузена, – сам Вильгельм-Фридрих уже не в силах был покидать потсдамского дворца; словно пригоршня елочных украшений двигались, держась поплотнее один к другому, родственные монархи Скандинавии; председатель Всекитайского Собрания Народных Представителей почтительно поддерживал под локоток Пу И – совсем уже одряхлевшего, высохшего, словно кузнечик, укутанного до глаз, но все же рискнувшего лично отдать послед-

нюю дань уважения; решившись не передоверять дела сыну, прибыл микадо, а следом за ним – многочисленные короли Индокитая. Едва ли не все короны мира, печально склоненные, одной семьей шествовали по тем местам, где я пешком ходил домой, и их охлестывал сырой балтийский ветер.

Поглядывая на экран стоявшего в углу кабинета телевизора, я прежде всего вызвал к себе начальника группы «Буки» поручика Папазяна.

– Вот и для вас появилась работа, Азер Акопович. Причем не только для вас лично, но и для всей группы разом. Веселее будет. Сделайте-ка мне выборку из всех возможных криминальных сводок вот по какому примерно принципу: покушения на убийство или попытки диверсий, в том числе удачные, при не вполне ясных и совсем неясных мотивах. В первую голову ищите случаи, когда преступник после совершения преступления оказывался в невменяемом состоянии или погибал либо умирал при невыясненных обстоятельствах.

– Ясно, – кивнул поручик. Я чувствовал, что он рвется в дело: расследование сенсационное, группа существует уже более суток, а еще ни одного задания. – По какому региону?

Я печально смотрел на него и молчал.

– По всей России? – попытался угадать он.

– По всему миру, – сказал я. Он присвистнул. – Но по России, конечно, прежде всего.

– За какой период? – Судя по голосу, его энтузиазм несколько приугас.

Я печально смотрел на него и молчал.

Его лицо вытянулось. Он тоже молчал – угадывать уже не решался.

– Лет за сто пятьдесят, – сказал я наконец. – Насколько достоверной статистики хватит. Двигаться будете в порядке, обратном хронологическому: этот год, прошлый год, позапрошлый год и так далее.

Он храбро слушал, явно посерьезнев. И тогда я, чтобы уж добить его на месте, небрежно осведомился:

– Пары часов вам хватит?

– Да побойтесь Бога, господин полковник!.. – вскинулся он, но я быстро протянул руку и тронул его пальцы, напрягшиеся на столе:

– Все, Азер Акопович, это я уже шучу. Немножко веселю вас перед атакой. Работа адова, я прекрасно понимаю. Не торопитесь, делайте тщательно. Но и не тяните. Я сейчас дам вам копию своего отчета о деле Кисленко – выносить из кабинета не разрешу, посмотрите здесь. Тогда вы лучше поймете, что я ишу. И будете сами проводить предварительный отсев фактов, которые наковыряют ваши ребята. У меня на это времени нет.

Пока Папазян, примостившись в уголке, с профессиональной стремительностью листал отчет, я позвонил шифровальщикам и спросил, не поступало ли на мое имя донесений от Каравайчука. Поступало. Как и следовало ожидать, никаких инцидентов в сфере американской части проекта «Арес» не было. Впрочем, штатники с исключительной вежливостью благодарили за предупреждение, обещали увеличить охрану занятых в проекте лиц и выражали надежду, что мы найдем возможность делиться с ними результатами следствия, если эти результаты, с нашей точки зрения, затронут интересы Североамериканских Штатов. На версии «Арес» можно было ставить крест.

Совсем посерьезневший от прочитанного, Папазян вернул мне отчет и ушел, а я двинулся к лингвистам. И тут все было худо. Слова «омон» не знал никто. Компьютерная проработка термина показала, что скорее всего он является аббревиатурой, и мы обнадежились ненадолго, но когда комп начал вываливать бесчисленные варианты расшифровки, от вполне еще невинных «Одинокого мужа, оставленного надеждой» и «Ордена мирного оглупления народов» до совершенно неудобоваримых, я и оператор только сплюнули, не стовариваясь; а если еще учесть, что аббревиатура могла быть иностранной? Словом, эта нить тоже никуда не вела.

Тогда я вернулся к себе.

3

– О, привет! Ты где?
– На работе.
– Уже вернулся?
– Еще вчера. В начале первого пробовал позвонить тебе с аэродрома, но никто не подошел.

– А, так это еще и ты звонил?

– Ты была дома?

– Да, валялась пластом. И как всегда, кто-то просто обрывал телефон, а встать – лучше сдохнуть. Очень трудный был день, металась везде, как савраска, – искала, не надо ли кому дров порубить.

– Прости, не понимаю.

– Работу искала, Саша, чего тут непонятного. Деньги нужны.

– Стася, – осторожно сказал я, – может быть, я все-таки мог бы...

– Кажется, мы уже говорили об этом, – сухо оборвала она. – Давай больше не будем.

Помощь купюрами она не принимала ни под каким видом. Даже, что называется, на хозяйство. Даже в долг; у других считала себя вправе одалживать, у меня – нет. Могла обмолвиться, что в доме есть буквально нечего, и тут же закатить мне царский обед или ужин; а сама, сидя напротив и поклевывая из своей тарелочки, сообщала между делом, что денег осталось на два дня, и если какое-нибудь «Новое слово», например, задержится с выплатой гонорара, то клади зубы на полку – и у меня кусок застревал в горле, хотя готовила она всегда сама, и всегда прекрасно. Однажды я попробовал молча запихнуть ей под бумагу на письменном столе двухсотенную денежку – поутру, уже на улице, обнаружил эту денежку в кармане пальто. Чуть со стыда не сгорел.

– Ну и как – нашлись дрова?

– Представь, да. Кажется, получу ставку младшего редактора в литературном отделе «Русского еврея». И что ценно – не надо каждый день в присутствие ходить. Забежал разок-другой в неделю, набрал текстов – и домой.

– А что случилось, Стасенька? Почему вдруг обострилась нужда?

– Настал момент такой. Подкопить для будущей жизни. Да неинтересно рассказывать, Саш.

И все. Намекнет на трудности – но нипочем не скажет, в чем они заключаются. Одно время, когда эта черта лишь начинала проступать в ней – в первые месяцы не было ничего подобного, – мне казалось, она нарочно. Потом понял, что иначе не может, в этом она вся. Сознать то, что жизнь у нее не малина, я должен, конечно, но знать что-то конкретное мне ни к чему, ведь все равно я не могу помочь, а она и затруднять меня не хочет, она сама справится... Иногда мне чудилось, что я падаю с ледяной стены; цепляюсь, тужусь удержаться, в кровь ломая ногти, и не могу – скользят по полированной броне.

– Ты зайдешь сегодня?

– Я бы очень хотел.

– Когда?

– Хоть сейчас.

– Замечательно. Только, знаешь, у меня к тебе тогда просьба будет, извини. Тут у меня как снег на голову сыплется Януш Квятковский – помнишь, я рассказывала, редактор из Лодзи. Это не люди, а порождения крокодилов. Утром звонит и говорит, что вылетает. Тут у него дела дня на три в Фонде поддержки западнославянских литератур, так чем платить за гостиницу, он мне сообщает, что остановится у меня, и вот мы, старые друзья, наконец-то как следует

повидаемся. В ноябре он был тут проездом, видел, что две комнаты... Вечером объявится, представляешь?

– С трудом, но представляю.

– Могу я, не могу – даже не осведомился. А мне, в общем, нездоровится, и в доме шаром покати. Ты не мог бы купить какой-нибудь еды?

– Что за разговор, – сказал я, – конечно. Могла бы так долго не объяснять. Через часок я подъеду.

– Спасибо, правда! И вот еще что: ключи у тебя с собой?

– Конечно.

– У меня сейчас голова совсем дырявая, поэтому говорю, пока помню, – оставь их, я ему дам на эти три дня. Не сидеть же мне у двери, звонок его слушать...

– Разумеется, – сказал я. – Жди.

– Целую.

– Взаимно.

Я прошел мимо дежурного, буркнув: «Буду через три часа»; яростно шаркая каблуками об асфальт, почти подбежал к своему авто. Ключ въехал в стартер лишь с третьей попытки. Мотор зафырчал, заурчал. Я едва не забыл дать сигнал поворота. Вывернул на Миллионную, просвистел мимо дворцов, мимо Марсова поля и вписался в плотный поток, бесконечно длинной, членистой черепахой ползущий по Садовой на юг.

В сущности, эти колесные бензиновые тарахтелки – уже анахронизм. Давным-давно прорабатываются проекты перевода индивидуального транспорта на силовую тягу, на манер воздушных кораблей – дорог не надо, бензина не надо, шума никакого, выхлопа никакого, скорость по любой открытой местности хоть триста, хоть четыреста верст в час. Но это потребует полного обновления всего парка – раз, чрезвычайно затруднит дорожный контроль – два; к тому же автомобильные и путевые ворота сопротивляются, как триста спартанцев, – три; ну и четыре – нужно по крайней мере впятеро уплотнить сеть орбитальных гравиторов. Тоже дорого и хлопотно. А пока суть да дело – ездим, воняем, пережигаем драгоценную нефть, сочимся сквозь капиллярчики магистралей...

У Инженерного замка я свернул к Фонтанке и по набережной погнал быстрее.

Насколько я понимал, года четыре назад у нее была вполне безумная любовь с этим Квятковским. Впрямую она не рассказывала, но по обмолвкам, да и просто зная ее, можно было догадаться. Две комнаты, надо же! А кроватей? Хотя в столовой стоит оттоманка... Или она ему постелит на коврике у двери?

Где-то совсем рядом, слева, безумно взвыл клаксон и сразу завизжали тормоза. Громадная тень автобуса, содрогаясь, нависла над моей фитюлькой и тут же пропала далеко позади.

Тьфу, черт. Оказывается, я пролетел под красный и даже не заметил. Что называется, Бог спас.

Ладно. Я разозлился на себя. Да кто я такой? Может, у нее сейчас последняя возможность вернуться к тому, кого она до сих пор любит?

Вообще-то, если я узнавал, что к тому или иному человеку Стася хорошо относится или тем более когда-то его любила, человек этот сразу вырастал в моих глазах. Даже не видя его ни разу, я начинал к нему относиться как-то... по-дружески, что ли, уважать начинал больше. Не знаю почему. Наверное, подсознательно срабатывало: ведь не зря она его любила. Наверное, нечто сродни тому, как сказала в Сагурамо Стася о Лизе и Поле, уж не знаю, искренне или всего лишь желая мне приятное сделать, – о, если б искренне! – «родные же люди». Просто сейчас я психанул, потому что слишком неожиданно это свалилось. Слишком я передегергался за последние сутки, да и за Стаську переволновался – то она чуть ли не босая по холодным лужам шлепает, то ночью не отвечает... да и вообще – отдаляется...

Надо бы почитать на досуге, что этот Квятковский пишет. Есть, наверное, переводы на русский.

Только где он, досуг?

Опубликовал бы он ее, что ли, в Лодзи в своей... да заплатил побольше... Но на сердце было тяжело. Кисло.

Первым делом я заехал в аэропорт и забрал оставшиеся в камере хранения две аппетитнейшие бутылки марочного «Арагви», которые подарил нам на прощание Ираклий. Я их отсюда даже не забирал – знал, что нам со Стасей понадобятся. Вот понадобились.

Поехал обратно.

Господи, ну конечно, она несчастлива со мной, ей унижительно, ей редко... пусть она будет счастлива без меня. Я хочу, чтобы – ей – было – хорошо!

Но на сердце было тяжело.

Ближайшим к ее дому супермаркетом – дурацкое слово, терпеть не могу, а вот прижилось, и даже русского аналога теперь не подберешь; впрочем, как это вопрошал, кажется, еще Жуковский: зачем нам иноземное слово «колонна», когда есть прекрасное русское слово «столб»? – был Торжковский. Я прокатил под Стасиными окнами, миновал мосты и припарковался.

Я был счастлив хоть что-то сделать для нее.

Жищно и гордо я катил свою решетчатую тележку по безлюдному лабиринту между сверкающими прилавками, срывая с них сетки с отборным, дочиста вымытым полесским картофелем, пакеты с полтавской грудинкой и вырезкой, с астраханским балыком, банки муромских пикулей и валдайских соленых груздей, датских маринованных миног и китайских острых приправ, камчатских крабов и хоккайдских кальмаров, празднично расцветенные коробки константинопольских шоколадных наборов и любекских марципанов, солнечные связки марокканских апельсинов и тяжелые лиловые гроздья таджикского винограда... Тем, что я нахватал, можно было пятерых изголодавшихся любовников укормить до несварения желудка. Ей недели на две хватит. И где-то на дне потока бессвязных мыслей билось: пусть только попробует отдать мне за это деньги... вот пусть только попробует... у нее все равно столько нет.

У меня у самого едва хватило.

– ...Саша, ты с ума сошел! – воскликнула она, едва отворив. Свежая, отдохнувшая, явно только что приняла ванну; тяжелые черные волосы перехвачены обаятельной ленточкой; легкая блузка-размахайка – грудь почти открыта; короткая юбочка в обтяжку. Преобразилась женщина, гостя ждет. Странно даже, что она меня узнала – в толще пакетов я совершенно терялся, как теряется в игрушках украшенная с безвкусной щедростью рождественская елка.

– С тобой сойдешь, – отдуваясь, проговорил я. – Куда сгружать?

Мы пошли на кухню; она почти пританцовывала на ходу и то и дело задорно оборачивалась на меня – энергия просто бурлила в ней. Я начал сгружать, а она тут же принялась сортировать свою манну небесную:

– Так, это мы будем есть с тобой... это тоже с тобой... картошку я прямо сейчас поставлю... Ты голодный?

– Нет, что ты!

– Это хорошо... – Распахнув холодильник, она долго и тщательно утрамбовывала банки и пакеты, приговаривая, почти припевая: – Не самозванка – я пришла домой, и не служанка – мне не надо хлеба. Я страсть твоя, воскресный отдых твой, твой день седьмой, твое седьмое небо... На Васильевский успел заехать?

– Конечно.

– Как Поля?

– Знаешь, я ее даже не видел. Пришел – она уже спала, уходил – она еще спала.

– Лиза?

– Все в порядке.

– Слава богу.

Воспоминание о ночи медленным огненным дуновением прокатилось по телу.

– Стася, ты веришь в Бога?

– Не знаю... – Она закрыла холодильник и разогнулась, взглянула мне в лицо. Взгляд ее сиял мягко-мягко. Редко такой бывает. – Верить и хотеть верить – это одно и то же?

– Любить и хотеть любить – это одно и то же? Спасти или хотеть спасти – это одно и то же?

– Ну вот. Я уж совсем было поверила, что ты – бог, а ты взял да и доказал, что бога нет... Коньяк-то зачем?

– Как зачем? Ираклий же нам подарил, так пусть у тебя дожидается. А может, человек с дороги выпить захочет.

– Съесть-то он съест, да кто ж ему дать... И не покажу даже. – Зажав в каждой руке по бутылке, она заметалась по кухне, соображая, где устроить тайник. Не нашла, поставила покамест прямо на стол. Коньяк, словно густое коричневое солнце, светился за стеклом. Захотелось выпить.

– И вот еще. – Я вынул из потайного кармана ключи от ее квартиры, которыми почти и не решался пользоваться никогда – так, носил как сладкий символ обладания, – и аккуратно положил на холодильник. Не видать мне их больше как своих ушей.

– Какая умница! А я и забыла... Ты мне не поможешь картошку почистить?

Я заколебался. Минуту назад, когда она смотрела так мягко, мне, дураку, почудилось на миг, что ее оживление, ее призывный наряд – для меня. Зазнался, Трубецкой, зазнался. Она расторопно достала кухонный ножик.

– Рад бы, Стасик, но мне сейчас опять на работу. Извини.

Она честно сделала огорченное лицо.

– Да брось! Дело к вечеру, что ты там работаешь? Януш часа через полтора будет здесь, я вас познакомлю; действительно, тогда вы и выпьете вдвоем, ты расслабишься немножко. У тебя очень усталое лицо, Саша.

– Что я тут буду сбоку припека. Он твой старый друг, коллега...

Она покосилась пытливо – нож в одной руке, картофелина в другой:

– Саша, по-моему, ты меня ревнуешь.

– Конечно.

– Вот здорово! А я уж думала, тебе все равно.

Я изобразил руками скрюченные когтистые лапы, занес над нею и голосом Шер-хана протяжно проревел:

– Это моя добыча!

Ловко проворачивая картоху под лезвием, она превосходственно усмехнулась, и я прекрасно понял ее усмешку: дескать, это еще вопрос – кто чья добыча.

– Не беспокойся, – сказала она потом. – Я девушка очень преданная. И к тому же совершенно не пригодна к употреблению.

– Окрасился месяц багрянцем?

На этот раз она оглянулась с непонятным мне удивлением; затем улыбнулась потаенно:

– Скорее уж окрысился. Тонус не тот.

– Ну, будем надеяться, – сказал я.

И звякнувший ножик, и глухо тукнувшую картофелину она просто выронила – и захлопала в ладоши:

– Ревнует! Сашка ревнует! Этой минуты я ждала полтора года! Ур-ра!

Картофелина, переваливаясь и топоча, подкатилась к краю, но решила не падать.

По-моему, с тонусом у Стаси было как нельзя лучше.

Бедная моя любимая. Все время знать это про меня, каждый день... «На Васильевский успел заехать? Тебя покормили?»

Горло сжалось от преклонения перед нею.

– Ну скажи, наконец, как тебе моя новая прическа? Нравится?

Я соскучился до истомы и дрожи – но если поцеловать ее, она ответит, а думать будет, что вот варшавский лайнер шасси выпустил, а вот Януш подходит к стоянке таксомоторов.

– Очень нравится. Как и все остальное. Тебе вообще идет девчачий стиль.

– Просто ты девочек любишь. Я и стараюсь.

Она отвернулась, подобрала картофелину и нож. На меня будто сто пудов кто взвалил – так давило чувство прощания навек. И все равно – такая нежность... Я обнял ее за плечи, легонько прижал спиной к себе и опустил лицо в ароматные, чистые волосы; надетая на голое размахайка без обиняков звала ладонь через ключицу вниз, к груди – я еле сдерживался.

– Трубецкой, не лижись. Я ведь с ужином не управлюсь.

Не меня она звала. В последний раз я чуть стиснул пальцы на ее плечах, поцеловал в темя – и отпустил. Все.

– Ладно, Стасенька, я пошел. Не обижайся.

– Жаль. Знаешь, после работы заезжай, а? Поболтаем...

– Зачем тебе?

– Ну, может, мне похвастаться тобою хочется? Тебе такое в голову не приходит?

– Признаться, нет. Не знаю, чем тут хвастаться. По-моему, твои друзья держат меня за до оскомины правильного солдафона – то ли тупого от сантиментов, то ли сентиментального от тупости.

– Какой ты смешной. А завтра ты что делаешь?

– Лечу в Симбирск и добиваюсь встречи с патриархом коммунистов.

Она порезала палец. Ойкнула, сунула кисть под струю воды – и растерянно обернулась ко мне:

– Это еще зачем?

– Дело есть. Счастливо, Стася.

Она шагнула ко мне, как в Сагурамо, пряча за спину руки, чтобы не капнуть ни на себя, ни на меня; обиженно, в девчачьем стиле, надула губы.

– А обнять-поцеловать?

Я обнял-поцеловал.

4

У себя я – отчасти, чтобы отвлечься, но главным образом по долгу службы – без особого энтузиазма попробовал прямо на подручных средствах предварительно прокрутить свою версию. Рубрика «ранние течения коммунизма», ключ «криминальные». Но дисплей пошел выбрасывать замшелые, известные теперь лишь узким специалистам да бесстрастным диске-там факты и имена. Французские бомбисты: хлоп взрывпакетом едущего, скажем, из театра, ни в чем не повинного чиновника – и сразу мы на шаг ближе к справедливому социальному устройству. Бакунин. «Ничего не стоит поднять на бунт любую деревню». «Революционные интеллигенты, всеми возможными средствами устанавливайте живую бунтарскую связь между разобщенными крестьянскими общинами». Нечаев. Убийца, выродок. Одно лишь название журнала, который он начал издавать за границей, стоит многого: «Народная расправа». Статья «Главные основы будущего общественного строя», тысяча восемьсот семидесятый год: давайте обществу как можно больше, а сами потребляйте как можно меньше (но что такое общество, если не эти самые «сами»? начальство, разве что), труд обязателен под угрозой смерти, все продукты труда распределяет между трудящимися, руководствуясь исключительно высокими

соображениями, никому не подотчетный и вообще никому даже не известный тайный комитет... Конечно, мечтая о таком публично, в уме-то держишь, что успеешь стать председателем этого комитета. Сволочь.

Все эти мрачные секты, узкие, как никогда не посещаемые солнцем ущелья, прокисли еще в семидесятых годах и в Европе, и в России; некоторое время они дотлевали на Востоке, скрещиваясь с националистическим фанатизмом и давая подчас жутковатые гибриды, но постепенно и там сошли на нет. Похоже, я опять тянул пустышку.

Позвонил Папазян и попросил принять его – я сказал, что могу хоть сейчас. Положил трубку и закурил. Настроение было отвратительное. Квятковский, наверное, уже приехал. А Стаська такая красивая и такая... приготовленная. А тут еще эти конструкторы нового общества, в которых даже мне, коммунисту, стрелять хотелось – просто как в бешеных собак, чтоб не кусали людей. Но это, конечно, как сказала бы Лиза, гневливость – страшный грех. Конечно, не стрелять – что я, Кисленко, что ли. Просто лечить и уж, во всяком случае, изолировать. «Друзья народа»...

– Ну что? Неужели и впрямь уже закончили? – плоскосто пошутил я, когда поручик вошел.

– Никак нет, напротив.

– Присаживайтесь. Что случилось?

Он уселся.

– Я позволил себе несколько расширить трактовку полученного задания, – выпалил он и запнулся, выжидательно глядя на меня. Я помедлил, пытаюсь понять. Тщательно загасил окурок в пепельнице, притоптал им тлеющие крошки пепла.

– Каким образом?

– Понимаете, – с готовностью начал пояснять он, – материал, который вы мне дали посмотреть, просто страшен, и он вас, возможно, несколько загипнотизировал. Я подумал: ведь не все люди столь решительны и принципиальны, как бедняга Кисленко. Не каждый, даже вот так вот сдвинувшись по фазе, сразу пойдет на убийство. И я позволил себе попробовать посмотреть при тех же признаках менее тяжкие дела – разбойные нападения, злостное хулиганство...

– Но это действительно уже адова работа.

– Что правда, то правда. Но зато она дала какой-то результат. Посмотрите. В текущем и в прошлом году, – он протянул мне листок с нумерованными фактами, – убийств, подобных нашему, нет. А вот инциденты помельче – есть. Два нелепых избиения в Сухуми. Шесть совершенно необъяснимых жестоких драк в деревушках в моем родном краю, между Лачином и Ханкенды. Абсолютно неспровоцированное и абсолютно бесцельное, прямо среди бела дня, нападение на городского на Манежной площади в Москве.

Я внимательно прочитал список. Интересно...

– А вы молодец, поручик, – сказал я. Он покраснел от удовольствия; он вообще легко краснел, как Лиза просто. – Молодец. Я понятия не имею пока, есть ли тут какая-то связь с нашим делом, но типологическое сходство налицо.

– Ну да! – возбужденно кивнул Папазян. – И главное, все субъекты преступления либо были явно под газом, и поэтому их объяснения, что, мол, о своих действиях они не помнят и объяснить их не могут, сразу принимались на веру, либо утрата памяти списывалась, скажем, на полученный удар по голове, и дальше опять-таки анализировать происшествие никто не пытался.

– Интересно, – уже вслух сказал я. – И конечно же, поскольку преступное деяние было не столь жестоким и бесчеловечным, как в случае с Кисленко, то и губительного психологического шока не возникало, человек продолжал жить. Память об аберративной самореализации,

вероятно, просто вытесняется в подсознание. Интересно, черт! Вот бы проверить, изменился ли у этих людей характер, стали ли они раздражительнее, грубее, пугливее...

– Еще одна адова работа, – с восторгом сказал Папазян.

– Нет, не отвлекайтесь пока. Если набежит совсем уж интересная статистика, проверкой такого рода займутся другие. Продолжайте так, как вы начали, – расширительно.

– Есть! – Папазян встал. Запнулся, а потом застенчиво спросил: – Господин полковник, а у вас уже есть версия?

– А у вас? – спросил я, откинувшись на спинку стула, чтобы удобнее было смотреть стоящему в лицо.

– Так точно!

– Ну-ка...

– Неизвестный науке мутантный вирус! Он поражает центры торможения в мозгу, и больной проявляет агрессивность по пустяковым, смехотворным для нормального человека поводам, а затем сам не помнит того, что совершил в момент помутнения. Но остается потенциальным преступником, потому что вирус никуда не делся, сидит в синапсах. Возможно, нам грозит эпидемия.

– Да вы совсем молодец, Азер Акопович! Bravo!

– Вы думаете примерно то же?

– Чтобы подтвердить версию о недавней мутации и ширящейся эпидемии, нужно – что?

Он поразмыслил секунду.

– Видимо, показать статистически, что подобные случаи год от года становятся многочисленнее, а какое-то время назад их вообще не было.

– Вам и карты в руки. – Я вздохнул: – У меня тоже есть версия, Азер Акопович, и ничем не лучше вашей. Она основана на одной-единственной фразе Кисленко...

– На какой? – жадно спросил Папазян.

– Простите, пока не скажу. Идите.

Он четко повернулся и пошел к двери.

– Ох, секундочку!

Он замер и повернулся ко мне снова.

– Скажите, вы знаете такого писателя – Януша Квятковского?

– Да, – удивленно ответил Папазян. – Собственно, он поэт... Поэт и издатель.

– Хороший поэт?

– Блестящий. Одинаково филигранно работает на польском, литовском и русском. Он молод, но уже не восходящая, а вполне взошедшая звезда.

– Молод – это как?

– Ну, я не знаю... где-то моего возраста.

Значит, он моложе ее. И довольно прилично, лет на пять-семь.

– И о чем он пишет?

– Вот тут я с его стихами как-то не очень. Уж слишком он бьет себя в грудь по поводу преимуществ католицизма. И вообще – польская лужайка самая важная в мире.

– Ну... – проговорил я задумчиво и, боюсь, с дурацким оттенком, в общем-то, не свойственной мне назидательности, – чем меньше лужайка, тем она дороже для того, кто на ней собирает нектар.

Папазян улыбнулся:

– Мне ли не знать?

– А, так просто Квятковский не ту лужайку хвалит?

Мы с удовольствием посмеялись. Среди бесконечных разбойных нападений и мутантных вирусов явно недоставало дружеского трепя. Наверное, чтоб доставало, нужно быть поэтом и издателем.

– А зачем это вам, Александр Львович?

– Неловко кушать коньячок с человеком, которого совсем не знаешь, а он знаменит.

– Ну и знакомства у вас! – завистливо вздохнул Папазян.

Знакомство. Что ж, можно назвать и так. Родственник через жену. Я жестом отослал поручика: сделав сосредоточенное лицо, показал, как набираю, набираю что-то на компьютере.

Значит, она с националистами связалась. Мало нам печалей.

Только бы не лягнула, дурочка, что дружит с полковником российской спецслужбы. Он ее тогда ни за что не опубликует.

Судя по времени, уже картошку доедает. Переходим к водным процедурам. Интересно, успела она спрятать коньяк или забыла?

Или не собиралась даже, только сделала вид?

Размахайка на голом и ленточка в ароматных волосах. Тонус не тот...

Мутантный вирус, значит. Что ж, идея не хуже любой другой. Мы, между прочим, об этом не подумали. Надо быть мальчишкой, чтобы такое измыслить. А ведь при вскрытии тела Кисленко эту версию не отработывали. Надо уточнить, не было ли отмечено каких-либо органических изменений в мозгу. Может, произвести повторное?.. Ох, ведь жена Кисленко, наверное, уже забрала тело. Бедная, бедная.

Если вирус, значит, у нас с Круусом есть шанс в ближайшем будущем слететь с нарезки. Интересно. Вот сейчас шелкнет что-то в башке – и я, ничуть не изменившись в смысле привязанностей, превращусь в персонаж исторического фильма. Ввалюсь к Стаське, замочу ее борзописца из штатного оружия, потом ее оттащу за волосы...

Интересно, ей это тоже будет лестно? Захлопает в ладоши и закричит: «Ревнует! Ура!»? Устал.

Траурные церемонии давно завершились, набережная была пустынна. Редкие авто с оглушительным шипением проносились мимо, вспарывая лужи и выплескивая на тротуары пенные, фстончатые фонтаны – приходилось держать ухо остро. Мрачная Нева катилась к морю, а ей навстречу пер густой влажный ветер и хлестал в лицо, толкал в грудь. По всему небу пучились черные лохмы туч, лишь на востоке то развевались, то вновь пропадали синие прорехи – словно в издевку показывая, каким должно быть настоящее небо.

Я долго стоял под горячим душем, потом под холодным. Потом сидел в глубоком, родном кресле в кабинете; пушистый, тяжелый, как утюг, уютный Тимотеус грел мне колени, я почесывал его за ухом – он благостно выворачивал лобастую голову подбородком кверху, и я чесал ему подбородок, и слушал Польку, которая, устроившись на диване под торшером, поджав под себя одну ногу, наконец-то читала мне свою сказку. Надо же, какие психологические изыски у такой малявки. У меня бы великан непременно начал конфискацию еды у тех, кто вообще уже ни о чем не думает на всем готовеньком. Нет, возражала она, отрываясь от текста, ну как же ты не понимаешь, они тогда начали бы думать только о еде, и все. А те, кто уже и так думал только о еде, начали думать, как спастись, как помочь себе, – сначала каждый думал, как помочь самому себе, потом постепенно сообразили, что помочь себе можно только сообща, так, чтобы все помогли всем.

Я слушал и думал: красивая девочка, вся в маму. Грудка уже набухает, господи ты боже мой. Неужели у Польки талант? От этой мысли волосы поднимались дыбом и гордо, и страшно делалось. Хотел бы я дочке Стасиной судьбы? Тяжелая судьба. Хотя есть, конечно, литераторы, которые как сыр в масле катаются, – но, по-моему, их никто не любит, кроме тех, кто с ними пьет по-черному; а это тоже не лучшая судьба, нам такого не надо. Тяжелая, беспощадная жизнь – и для себя, и для тех, кто рядом. Не случайно, наверное, среди литераторов совсем нет коммунистов, а если и заведется какой-нибудь, то пишет из рук вон плохо: сюсюканье, назидательность, сплошные моралитэ и ничего живого. Наверное, эти люди просто-таки по долгу службы не могут не быть теми, кого обычно именуют эгоистами. Ученый, чтобы открыть

нечто новое, использует, например, компьютер и синхрофазотрон; инженер, чтобы создать нечто новое, использует таблицы и рейсфедеры, но литератор, чтобы открыть и создать новое, использует только живых людей, и нет у него иного способа, иного пути. Нет иного станка и полигона. Да, он остроумный и приятный собеседник; да, он может трогательно и преданно заботиться о людях, с которыми встречается раз в полгода; да, он способен на поразительные вспышки самоотдачи, саморастворения, самосожжения – но это лишь рабочий инстинкт, который знает: иначе не внедриться в другого, а ведь надо познать его, надо взметнуть пламена страстей, ощутить чужие чувства, как свои, а свои – как великие, чтобы потом выкачанные из этой самоотдачи впечатления, преломившись, переварившись, когда-нибудь легли на бумагу и десятки тысяч чужих людей, читая, ощущали пронзительные уколы в сердце и качали головами: как точно! как верно!.. и, насосавшись, он выползает из тебя, сам страдая от внезапного отчуждения не меньше, чем ты, – но все равно выламывается неотвратно, отрывается с кровью, испуганно рубит по протянутым вслед в безнадежном старании удержать рукам и оставляет того, ради кого, казалось, жил, в пепле, разоре и плаче. Вот как Стаська меня сейчас.

А иначе – не может. Такая работа.

– Папчик, – тихонько спросила Полушка, и я понял, что она уже давно молчит. – Ты о чем так задумался?

– О тебе, доча, – сказал я, – и о твоих подданных.

– Ты не бойся, – сказала она, подходя. Уселась на подлокотник моего кресла и положила руку мне на плечо. – Я им вреда не сделаю. Просто надо же их как-то в себя привести. Ну, какое-то время им будет больно, да. Я сейчас вторую часть начала. Все кончится хорошо.

И на том спасибо, подумал я. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула Лиза. Улыбнулась, глядя на наше задушевство.

– Родные мальчики и родные девочки! Не угодно ли слегка откусать? Савельевна уж на стол накрыла.

– Угодно, – сказал я и встал.

– Угодно, – повторила Поля очень солидно и тоже встала.

Взявшись с нею за руки, мы степенно, как большие, двинулись в столовую вслед за Лизой. Она шла чуть впереди в длинном, свободном платье до пят – осиная талия охлестнута широким поясом. Светлое марево волос колышется в такт шагам. Полечу утром, подумал я. Все равно ночью там делать нечего – в порту, что ли, сидеть? Зачем? Нестерпимо хотелось догнать Лизу и шептать: «Прости... прости...» Мне часто снилось: я ей все-все рассказываю, а она, как это водится у них, христиан, властью, данной ей Богом, отпускает мне грехи... Иногда, по-моему, бормотал во сне вслух. Что она слышала? Что поняла?

Мы отужинали. Потом, болтая о том о сем, попили чаю с маковыми баранками. Потом Поля, взяв транзистор, ушла к себе – укладываться спать и усыпительно побродить по эфиру на сон грядущий, вдруг там какое брень-брень попадет модное. А Лиза налила нам еще по чашке, потом еще. Чай гонять она могла по-купечески, до седьмого полотенца, ну, а я за компанию.

– Какой хороший вечер, – говорила Лиза. – Какой хороший вечер, правда?

Я был уверен, что Поля давно спит. По правде сказать, у меня у самого слипались глаза; разомлел, размяк. Когда Поля в ночной рубашке вдруг вошла в столовую, я даже не понял, почему она движется, словно слепая.

Она плакала. Плакала беззвучно и горько. Попыталась что-то сказать – и не смогла. Вытерла лицо ладонью, шмыгнула. Мы сидели, окаменев.

– Папенька... – горлом сказала она. – Папенька, твоего коммуниста застрелили!

– Что?! – крикнул я, вскакивая. Чашка, резко звякнув о блюдец, опрокинулась, и густой чай, благоухающий мятой, хлынул на скатерть.

Приемник стоял у Поли на подушке. Диктор вещал: «...приблизительно в двадцать один двадцать. Один или двое неизвестных, подкараулив патриарха поблизости от входа в дом, сделали несколько выстрелов, вырвали портфель, который патриарх нес в руке, и, пользуясь темнотой и относительным безлюдьем на улице, скрылись. В тяжелом состоянии потерпевший доставлен в больницу...»

Жив. Еще жив. Хоть бы он остался жив.

Это не могло быть случайностью. Почти не могло.

Кому я говорил, что собираюсь консультироваться с патриархом? Министру да Ламсдорфу...

И Стасе.

Не может быть. Не может быть. Быть не может!!!

Я затравленно зыркнул вокруг. Поля плакала. Лиза, тоже прибежавшая сюда, стояла в дверях, прижав кулак к губам.

– Мне нужно поговорить по телефону. Выйдите отсюда.

– Папчик...

– Выйдите! – проревел я. Их как ветром сдуло, дверь плотно закрылась. Я сорвал трубку.

У Стаси играла музыка.

– Стася...

– Ой, ты откуда?

– Из дома.

– Это что-то новое. Добрый это знак или наоборот? – У нее был совершенно трезвый голос, хорошо. А вот сипловатый баритон, громко спросивший поодаль от микрофона что-то вроде «Кто-то ест?», выдавал изрядный градус. Натурально, коньяк трескает. Наверное, уже до второй бутылки добрался. «Это мой муж», – по-русски произнесла Стася, и словно какой-то автоген дунул мне в сердце пламенем, острым и твердым.

– А мы тут, Саша, сидим без тебя, вспоминаем былую лирику, планируем будущие дела...

– Только не увлекайся лирикой.

– Я даже не курю. Представляешь, он берет у меня в «Нэ згинэла» целую подборку, строк на семьсот!

– Поздравляю. Стася, ты...

– Я хочу взять русский псевдоним. Можно использовать твою фамилию?

– Мы из Гедиминовичей. Это будет претенциозно, особенно для Польши. Стася, послушай...

– А девичью фамилию Лизы?

– Об этом надо спросить у нее.

– Значит, нельзя, – вздохнула она.

– Стасенька, ты никому не говорила о том, куда я собираюсь лететь?

– Нет, милый. – Голос у нее сразу посерьезнел. – Что-то случилось?

– Ты уверена?

– Да кому я могла? Я даже не выходила, а с Янушем у нас совершенно иные темы.

– Может, по телефону?

– Я ни с кем не разговаривала по телефону. – Она уже начала раздражаться. – Честное слово, никому, Саша. Хватит.

– Ну, хорошо... – Я с силой потер лицо свободной ладонью. – Все в порядке, извини.

Было чудовищно стыдно, невыносимо. За то, что ляпнулось в голову.

– Стасик... Ты очень хорошая. Спасибо тебе.

– Саша. – У нее, кажется, перехватило горло. – Саша. Я ведь так и не знаю, как ты ко мне относишься. Ты меня хоть немножко любишь?

Да, сказал я одними губами. Да, да, да, да!!

Она помолчала.

– Ты меня слышишь?

– Да, – сказал я вслух. – Да. И вот еще что. Ты не говори ему, кто я. В смысле, где я работаю.

– Почему?

– Ну, вдруг это помешает публикации.

– Какой ты смешной, – опять сказала она. – Почему же помешает?

– Ну... – Я не знал, как выразиться потактичнее. – Он вроде как увлечен национальными проблемами слегка чересчур...

– Ты что, – голос у нее снова изменился, стал резким и враждебным, – обо всех моих друзьях по своим досье теперь справляться будешь? Он в какой-нибудь картотеке неблагонадежных у вас, что ли? Какая гадость! – И она швырнула трубку.

Хлоп-хлоп-хлоп.

Позаботился.

Слов-то таких откуда нахваталась. «Неблагонадежных...» Меньше надо исторической макулатуры читать...

Не верю. Не может быть.

Неужели случайность?

Таких – не бывает.

Я снова поднял трубку:

– Барышня, когда у вас ближайший рейс на Симбирск?

Глава 5 Симбирск

1

В оранжевой рассветной дымке распахивался под нами Симбирск – между ясным, светлее неба, зеркалом Волги, даже с этой высоты просторной, как океан, и лентой Свияги, причудливым ровным серпантинном петляющей по холмистой равнине волжского правобережья. Небольшой, но великий город. Когда-то он был крайним восточным форпостом засечной черты, прикрывавшей выдвинутые при Алексее Михайловиче в эту степную даль рубежи страны. Мне всегда казалось неслучайным, что именно здесь за двести лет до рождения первого патриарха коммунистов России получил коленом под зад пьяный тать Стенька – выдавленный из Персии, выдавленный с Каспия, безо всяких угрызений удумавший было погулять, раз такое дело, по родной землице, вербуя рати посулами свобод и, как выразился бы какой-нибудь Нечаев, будущего справедливого общественного строя: «Режь кого хошь – воля!» Но насилие не прошло здесь уже тогда. Аура такая, что ли... еще одно сердце России. Иногда мне казалось, что вся эта неохватная, как космос, держава состоит из одних сердец – то в такт, то чуть вразнобой они колотятся неустанно, мощно и всегда взволнованно.

И вот насилие, безобразное, словно проказа, проникло сюда.

Неужели и впрямь мутантный вирус?

Невесомым бумажным голубем семисотместная громада спланировала на бетон и замерла в сотне метров от здания вокзала. Безмятежная заря цвела вполнеба, когда мы вышли на вольный воздух. Длинная вереница рейсовых автобусов быстро всосала пролившееся из утробы лайнера людское море и, фырча, распалась – кто в Симбирск, кто в Ишеевку, кто куда.

До центра Симбирска езды было с четверть часа.

Я отправил группу «Добро» в гостиницу, где всех нас ожидали номера, а сам пошел по городу, безлюдному и неподвижному в эту рань. Всплыл алый диск, и спящие дома млели в розовом свете; чуть курилось над лужайками Карамзинского сквера розовое марево, пропитанное истомным настоем отцветающей сирени. Сколько сиреневых поколений сменилось с той поры, как гулял тут великий историк? Обаятельно неуклюжий, будто теленок, длинный дом, в котором родился автор «Обломова», улыбнулся мне топазовыми отсветами старомодных окон. По бывшей Стрелецкой, ныне Ленина, мимо принадлежащего патриаршеству института императивной бихевиористики вышел к Старому Венцу. Дальше хода не было – откос и буйный, слепящий волжский разлет.

Левое крыло института, выстроенного в тон сохранившимся, как были, зданиям улицы, упиралось в дом Прибыловского, во флигеле которого появился на свет первый патриарх.

Было все же что-то неизбежно русское и, не побоюсь выпренного слова, соборное в осуществленной им удивительной трансформации. Он верно угадал подноготный смысл вскрыжившего многие головы так называемого экономического учения, вся предписывающая часть которого, в отличие от достаточно глубокой описывающей, сводилась, если отрешиться от прекрасодушных, таких понятных и таких нелепых грез об очередном будущем справедливом строе, к фразе, с античных времен присущей всем бандитам, поигрывающим в благородство и тем загодя подкупающим бедняков в надежде, буде понадобится, получать у них кров и хлеб: отнимем у тех, у кого есть, и отдадим тем, у кого нет. Разумеется – все ж таки девятнадцатый век! – с массой интеллигентских оговорок: то, что экспроприровано у народа; то, что нажито неправедным путем... как будто, хоть на миг спустившись с теоретических высей на грешную

землю и вспомнив о человеческой природе, можно вообразить, что в кровавой горячке изыятий кто-то станет и сможет разбираться, что нажито праведно, а что – нет. Логика будет обратной: у кого есть – тот и неправеден, вот что ревет толпа всегда, начиная от первых христиан, от Ликурговых реформ, и нет в том ее вины, это действительно самый простой критерий, обеспечивающий мгновенное срабатывание в двоичной системе «да – нет»; в толпе все равны и просты и спешат построить справедливый строй, пока толпа жива, и поэтому не могут не требовать действий быстрых, простых и равных по отношению ко всем, двоичный код – максимум сложности, до которого толпа способна подняться.

Да, изначально концентрация имущества и средств шла насилием, грабежом, зверством неслыханным – но, когда она завершается и фавориты тысячелетнего забега определились, ломать им ноги на финишной прямой и ровно тем же зверством отбирать у тех, кому когда-то как-то – все равно когда и как – досталось, отдавая деньги, станки, месторождения, уголья, территории тем, у кого сейчас их мало или нет совсем, – значит принуждать историю делать второй шаг на одном и том же месте, а потом, возможно, еще один, и еще, и еще, ввергая социум в череду нарастающих автоколебаний сродни тем, от которых погиб Кисленко, а у нее одна развязка: полное разрушение молекулярной структуры, полное истребление и победителей, и побежденных. И что проку лить нынешним обездоленным уксус в кровь, дразнить, как собак до исступления дразнят, твердя о восстановлении исторической справедливости! История не знает справедливости, как не знает ее вся природа. Справедлива ли гравитационная постоянная? Несправедлив ли дрейф материков? Даже люди не бывают справедливы и несправедливы; они могут быть милосердны или безжалостны, щедры или скупы, дальновидны или ослеплены, радушны или равнодушны, но справедливость – такая же игра витающего среди абстракций ума, как идеальный газ, как корень квадратный из минус единицы.

И вот он взял те формулы учения, что не несли в себе ни проскрипций, с которых еще во времена оны начинал в Риме каждый очередной император, ни розового бреда об основанном на совместном владении грядущем справедливом устройстве, выдернул оттуда длинную, как ленточный червь, цепь предназначенных стать общими рельсов, кранов, плугов, котлов, шатунов и кривошипов и заменил их душой. Как будто люди заботятся друг о друге шатунами и кривошипами! Будь у одного паровоза хоть тысяча юридических владельцев, одновременных или поочередных, реально владеет им либо машинист, либо тот, кто стоит над машинистом с винтовкой в руке. Люди заботятся друг о друге желаниями и поступками, и если достаточно большая часть людей постоянно помнит, что каждое насилие, каждый корыстный обман, каждое неуважение подвергает риску весь род людской, уменьшая его шансы выстоять в такой несправедливой, мертвой, вакуумной, атомной, лучевой, бактериальной Вселенной, – какая разница, кому принадлежит паровоз?

Да, люди способны к этому в разной степени, люди – разные. Но лучше уж знать, кто чего стоит, нежели средствами государственного насилия заставлять всех быть с виду единообразными альтруистами, а в сущности – просто притворяться и лишь звоночка ждать, чтобы броситься друг на друга... Да, некоторые люди к этому пока неспособны совсем. Они до сих пор иногда стреляют.

Зачем, господа, зачем они до сих пор стреляют?!

Я и не заметил, как присел покурить на дощатую лавочку у крыльца. Там теперь музей. А в самом доме Прибыловского вот уж почти век – центральные учреждения патриаршества.

Отсюда вчера вечером вышел шестой, и в мыслях не держа, что не дойдет до своей квартиры.

Зачем они стреляют?

«Найди их и убей».

Пора.

2

Я представился, показал удостоверение. Стремительно застегивая верхнюю пуговицу кителя, дежурный вскочил:

- Вас ждут, господин полковник. Нас еще с вечера предупредили из министерства.
- Кто ведет следствие?
- Майор Усольцев. Комната девять.

Усольцев был еще сравнительно молод, но узкое, постное лицо с цепкими глазами выдавало опытного и настырного сыскаря. Если такой возьмет след – его уже не собьешь.

– Я никоим образом не собираюсь ущемлять ваших прав, – обменявшись с ним рукопожатием, сразу сказал я. – Я не собираюсь даже контролировать вас. Меня просто интересует это дело. Есть основания полагать, что оно связано с гибелью «Цесаревича».

– Вот как, – помолчав и собравшись с мыслями, проговорил Усольцев. – Тогда все ясно. То есть, конечно, не все... Какова природа этой связи, вы можете хотя бы намекнуть?

– Если бы это облегчило поиски стрелявшего, я бы это сделал. Но покамест не стану вас путать, не обессудьте. Все очень неопределенно.

– Хорошо, господин полковник, тогда и оставим это. – Он опять помолчал. – Стрелявших было двое. Жизнь патриарха, по-видимому, вне опасности, но состояние очень тяжелое, и он до сих пор без сознания. Пять попаданий – просто чудо, что ни одного смертельного... Присаживайтесь здесь. Вот пепельница, если угодно. Вы завтракали? Я могу приказать принести чаю...

– А вы завтракали? – улыбнулся я.

Он смущенно провел ладонью по не по возрасту редким волосам.

– Я ужинал в четыре утра, так что это вполне сойдет за завтрак.

– Я перекусил в гравилете. Мотив?

– В сущности, нет мотива.

Ага, подумал я.

– Сначала мы полагали, что это какое-то странное ограбление, но через два часа после дела портфель патриарха был найден на улице, под кустами Московского бульвара.

– Он был открыт?

– Да, но, судя по всему, из него ничего не было взято. Хотя в нем рылись, и на одной из бумаг мы нашли отпечаток мизинца. Портфель отброшен, словно на бегу или из авто, часть бумаг вывалилась на землю.

– Что вообще в портфеле?

– Ничего заманчивого для грабителей. Кусок рукописи, над которой работает патриарх. Личные дела претендентов на освобождающуюся должность заведующего лабораторией этического аутокондиционирования при патриаршестве – прежний завлаб избран депутатом Думы. Сборник адаптированных для детей скандинавских саг в переводе Уле Ванганена – секретарь патриарха показал, что патриарх купил сборник вчера днем в подарок внуку. Финансовый отчет ризничего...

– Возможно, грабители полагали, что там есть нечто более ценное, а убедившись в ошибке, избавились от улики.

– Это единственное, что приходит на ум. Но кому в здравом уме шархнет в голову, что патриарх носит в портфеле бриллианты или наркотики?

– Возможно, ограбление – лишь маскировка политической акции? – спросил я.

Усольцев пожал плечами и ответил:

– На редкость бездарная.

– А возможно, некто был не в здравом уме?

Майор помолчал с отсутствующим видом.

– Эту реплику, господин полковник, такую многозначительную и загадочную, я отношу насчет той информации, которой вы, вероятно, располагаете, а я – нет. Ничего ответить вам не могу.

– Господин майор, вы поняли меня превратно! – сказал я, а сам подумал: какой ершистый. – Я имел лишь в виду осведомиться, не было ли в городе в последнее время каких-то иных, менее значительных происшествий, связанных с необъяснимым вандализмом, неспровоцированной агрессией и так далее. Возможно, просто действовал маньяк!

Усольцев несколько секунд испытующе глядел мне в лицо, а потом вдруг широко улыбнулся, как бы прося прощения за вспышку. И я смущенно подумал, что, не дай бог, он мог расценить мои слова о неспровоцированной агрессии как намек на свое собственное поведение. Мне совсем не хотелось его обижать. Он мне нравился.

– Мне это не приходило в голову, – признался он, – но, видимо, потому, что я доподлинно знаю: таких инцидентов в городе не было. Что же до маньяка, то... во-первых, у нас их два, а это уже редчайший случай – чтобы два маньяка действовали совместно. Во-вторых, дело было не импульсивным, а подготовленным. От патриаршества до дома патриарха менее получаса ходьбы, и в хорошую погоду патриарх, разумеется, не пользовался авто. Покушение было осуществлено в самом удобном для этого месте, в сквере, примыкающем к жилому кварталу, где расположен дом патриарха, – там темнее и безлюднее, чем где-либо еще на маршруте от патриаршества до дома; и маньяки явно уже отследили, как патриарх ходит и когда. Расположились они тоже не случайным образом, а это значит, что они явно профессионалы, по крайней мере – один из них.

С этими словами Усольцев встал; подойдя к столу, взял одну из бумаг и принес мне. Это был реконструированный по показателям немногих свидетелей план – кто как стоял, кто как перемещался; красным пунктиром были нанесены трассы выстрелов – их было восемь; красными крестиками – места, где находился патриарх в моменты попаданий, их было пять; он еще пытался бежать, потом полз, и жирным красным кружком было обозначено место, где он замер. Я смотрел, и вся картина этой отчаянной трех- или четырехсекундной битвы одного безоружного с двумя вооруженными ярче яви стояла у меня перед глазами; зубы скрипнули от жалости к нему и ненависти к ним.

«Найди их и убей».

Да, они очень правильно встали. После первого выстрела патриарх побежал – прямо на второго – и сразу напоролся на пулю, пробившую правое легкое.

А вот стреляли они неважно. Бандиты – да, но не террористы-профессионалы. Действительно, похоже скорее на разбойное нападение, чем на теракт.

Если бы они хотели его убить, они бы его убили, понял я. Да, они могли подумать, что он мертв, но никто им не мешал, никто не спугнул, счет отнюдь не шел на секунды; если бы их специальной целью было именно убийство, любой из них мог сделать несколько шагов и добить лежачего в упор.

Значит, целью было ограбление.

Но если им нужен был портфель, зачем такая пальба? Подойти, оглушить, вырвать... просто пшикнуть чем-нибудь в лицо, хватить – и наутек!

И кроме того, что они в самом-то деле ожидали найти в портфеле патриарха коммунистов, неукоснительно, хоть и не столь ярко, как монахи христиан, придерживающихся принципа нестяжания?

Значит, и не ограбление.

Жестоко, но не до смерти изувечить и изобразить ограбление, чтобы запутать нас?

Но Усольцев прав, изобразить можно было бы и получше – бросить портфель не под кусты в двух шагах от места покушения, а в ту же, например, Волгу, пихнув внутрь пару камней, – и никто бы его никогда не нашел.

А может, им нужны были именно бумаги? Ознакомились, узнали нечто – и вышвырнули, как мусор. Но что? Финансовый отчет? Подробности биографии какого-то из кандидатов в завлабы? Темный лес...

Надо тщательно проанализировать все бумаги.

– Баллистическая экспертиза? – спросил я.

– «Вальтер» и «макаров». Две пули попали в деревья, одна в стену дальнего дома напротив. «Вальтер» темный. А вот из «макарова» три года назад стреляли в инкассатора в Игарке. Стрелявший сидит, я затребовал его дело.

– Что с отпечатком?

– На бумагах и на портфеле, конечно, полно отпечатков, но все принадлежат работникам патриаршества, в основном – самому патриарху. И один мизинец, который безымянный. В смысле, неизвестно чей. На папке с личными делами. Но не похоже, что ее открывали, – портфель, скорее, был бегло осмотрен в поисках чего-то другого. Просматривал человек в перчатках, явно он и портфель хватал, а второй, судя по этакой стремительной смазанности отпечатка, просто отпихнул папку от себя, как бы в раздражении, вот так, – Усольцев показал жестом, – ребром ладони, и мизинчиком случайно задел, мог сам этого и не заметить.

– То есть, похоже, они все-таки рассчитывали обнаружить в портфеле то ли ожерелье Марии-Антуанетты, то ли Кохинур, а напоровшись на мирную бюрократию, в сердцах вышвырнули ее вон?

– Точно так. В нашем банке таких отпечатков нет. Оператор сейчас работает с единой сетью.

– Кто-нибудь видел нападавших?

– Видели, как двое выбежали из сквера сразу после пальбы и скрылись за углом, а там раздался шум отъезжающего авто. Авто не видел, кажется, ни один человек.

– Приметы?

– Сделали фотороботы на обоих. Но весьма некачественные – ночь. Идемте к дисплею.

Первое возникшее на экране лицо, довольно грубо набросанное не вполне вязавшимися друг с другом группами черт, ничего мне не говорило. Зато второе...

Эта просторная плоская рожа... Эта благородная копна седых, достойных какого-нибудь гениального академика волос, зачесанных назад... Сердце у меня торкнулось в горло, я даже ударил себя ладонью по колену от предчувствия удачи.

– Знаете, – стараясь говорить спокойно, предложил я, – затребуйте-ка из банка данных единой сети портрет Бени Цына и сличите через идентификатор.

– Бенья Цын? – переспросил Усольцев.

– Да. По-моему, ни один человек в мире не знает, как его по отчеству. В крайнем случае – Б. Л. Цын.

– Старый друган? – осведомился Усольцев, трепеща пальцами по клавиатуре.

– Не исключено.

Лицо на экране уменьшилось вдвое и съехало в левую часть поля, а на правой появился портрет Бени. В левом верхнем углу заколотились цифры, идентификатор у нас на глазах прикидывал вероятность совпадения; вот высветилось «96.30», но я и так чувствовал: он, он! – это же, наверное, чувствует гончая, взявшая след. Крупный, представительный, очень мужественный – с точки зрения современных пасифай, с ума сходящих по быкам, раскосый; и эта вечная кривая и глубокомысленная улыбочка, трогающая губы едва ли не после каждой с трудом сказанной корявой фразы: мол, мы-то с тобой понимаем, о чем шепот, но зачем посвящать окружающих дураков – этакий сибирский Лука Брацци; родился во Владивостоке, карьеру начал

вышибалой в знаменитых на весь мир увеселительных заведениях Ханты-Мансийска, там же попал в поле зрения курьеров тонкинского наркоклана; а когда мы с китайскими и индокитайскими коллегами рубили клан в капусту, впервые попал на глаза и мне.

– Он! – восхищенно воскликнул Усольцев. – Ей-богу! Девяносто шесть и три – он!

Яростная, алчная сыскная радость так клокотала во мне, что, боюсь, я не удержался от толики позерства – сложив руки на груди, откинулся на спинку кресла и сказал:

– Ну, остальное – дело техники, не так ли?

Все оказалось до смешного просто. Впервые в этом деле. Сорок минут спустя о том, что стюардесса наблюдает в пятом салоне человека, сходного с выданным на экран радиорубки портретом, сообщили с борта лайнера, подлетающего к Южно-Сахалинску. И лайнер этот шел от Симбирска, от нас. Беня драпал.

В кассе аэровокзала – кассир еще даже не успел смениться – сообщили, что человек с предъявленной фотографии купил билет всего за сорок минут до взлета. Это произошло почти через пять часов после расправы с патриархом. Почему Беня так медлил? Где второй?

Ничего, скоро все узнаем. Скоро, скоро, скоро! Меня била дрожь. Это не бедняга Кисленко, чья-то «пешка». Это настоящая тварь, и из нее мы выкачаем все.

Человек этот, сказал кассир, чего-то боялся. Озирался и съезживался; такой крупный, представительный, а все будто хотел стать меньше ростом. И когда шел от кассы на посадку, держался в самой гуще толпы: обычно люди, попавшие в очередь к турникету последними, так последними и держатся, а этот все норовил пропихнуться туда, где его не видно в каше, потому я и обратил внимание...

Боялся. Нас боялся? Или у них тут своя разборка?

Скоро все узнаем. Скоро, скоро!

Беню взяли аккуратно и без помарок. Он сел в таксомотор, велел ехать в порт – в Японию, что ли, собрался? Будет тебе Япония, будут тебе все Филиппины и Наньша цюньдао в придачу! – и слегка отмяк. Боялись, что он по-прежнему вооружен и может сдуру начать палить, поэтому решили брать подальше от людей. Перегораживающий шоссе шлагбаум портовой узкоколейки оказался опущен, шофер остановил авто, и из-за обступивших дорогу ярких рекламных щитов – «С аквалангом – на Монерон!», «На яхтах Парфенова вам не страшна любая непогода!», «Я переплыл пролив Лаперуза – а ты?» – как из-под земли вымахнули четверо ребят с пистолетами, нацеленными Бене в голову сквозь окна таксомотора. Беня уж и не дергался, лишь понурился устало – и сам вышел наружу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.